Мария
АРТЕМЬЕВА
ЧЕРНАЯ
MYST
КНИГА
Александр ВАРГО
рекомендует
Темная сторона
ПЕТЕРБУРГА
По этим липким следам надо
пройти самому. В одиночестве. Молча.
Но при этом помнить: молитвы
здесь не помогают.
18+

MYST. Черная книга 18+

Мария Артемьева

Темная сторона Петербурга

«Эксмо»
2017

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Артемьева М.

Темная сторона Петербурга / М. Артемьева — «Эксмо», 2017 — (MYST. Черная книга 18+)

ISBN 978-5-699-96802-2

Хоррор-путеводитель по самым мрачным, зловещим и мистическим местам Северной столицы России. История этих мест словно покрыта мхом, паутиной и толстым слоем пыли, скрывая жуткие мифы города на Неве. И там, под слоем тлена, угадываются тени призраков Финляндского вокзала; в сырых подземельях бродит Белый диггер и светятся в темноте глаза людоедов; там, в холодных водах, Болотная баба душит княжну Тараканову; там пылает факел Черного монаха, поджигающего холерную лечебницу вместе с людьми… Возьмите эту книгу с собой, отправляясь в Петербург, и вы сможете познать его самую Темную Сторону.

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-96802-2

© Артемьева М., 2017
© Эксмо, 2017

Содержание

Часть первая 6
Земной волхв и пророчество о Небесном граде 6
Атакан 19
Черный монах 27
Проклятая шарманка 35
Путь кругов на воде, или Живой клинок 44
Конец ознакомительного фрагмента. 48

Мария Артемьева
Темная сторона Петербурга

© Артемьева М., 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Часть первая
С.-Петербургъ

Земной волхв и пророчество о Небесном граде

Место не установлено

Никуда б я не поехала, конечно, если б знала заранее, что ждет впереди. Но я не знала. Да и никто из нас не знал. И даже представить мы тогда не могли, что такое возможно.

* * *

Дорога тонкой ниткой вьется по крутым холмам. Наш грузовичок то ныряет с горки вниз, так что слышно, как в кузове с уханьем подскакивают ребята, придерживая рюкзаки, то с натугой карабкается вверх, и тогда с вершины холма открывается все та же нескончаемая картина: море хвои вокруг и серая стежка дороги, волнистым швом проходящая сквозь пухлое одеяло зелени.

Август 1957 года. Ленинградский университет организовал этнографическую экспедицию к притокам реки Вуоксы.

Мы едем, и с обеих сторон дорогу обступает лес – хвойный, густой, буреломистый.

Корабельные высокие сосны и ели сплошь в белых бородах лишайника. То и дело попадаются гигантские валуны, заставляющие вспоминать о богатырском перепутье. («Налево пойдешь – коня потеряешь, направо – жизни лишишься».) В рыжих хвойных подушках прячутся черные скальные останки, подобно гробам, поросшие мхом. Шишки, валежник, павшие древесные великаны с ободранной корой загромождают подлесок. Кое-где на фоне черных болотистых луж переломанные березы белеют телом, словно нагие женщины.

Этот лес вызывает во мне дрожь: мысли о кромешной тьме, о чудищах. «И завела злая мачеха детей в глухую чащу…» Кстати сказать, место, куда мы направляемся, так и называется – Корба. То есть на местном диалекте – «чащоба, труднопроходимый лес». Гравий, вылетевший из-под колеса, щелкнул по днищу кузова. Я вздрогнула. Зачем мы едем в эту глухомань, в эту неведомую нам Корбу?..

В нашей группе двое парней с геологического факультета, две девушки-географички, я и Лева – с филологического. И еще кое-кто.

В местном райкоме комсомола наш аспирант и руководитель группы Лева Кондратьев сказал принимавшей нас инструкторше: «Интересуют малые финно-угорские народности: вепсы, карелы, ижоры, саамы… Обычаи, сказки, поговорки. Ну, в общем, вы понимаете. Подскажите, где у вас тут самые старые старики живут?» Инструкторша райкома в изумлении пожала плечами. Потом куда-то позвонила.

Так в нашей группе появился Федор, по-здешнему – Федка, Антипов. Он из местных, уроженец деревни Корба. Второй год учится в техникуме в Петрозаводске и вот как раз собрался навестить родных.

Федка стал нашим проводником. Он высокий, красивый и всем ладный парень. Особенно хороши глаза. Необычные – зеленовато-коричневые, цвета болотной воды, но при этом – прозрачные, как бутылочное стекло.

– Не боитесь, городские? – первым делом спросил нас Федка, разглядывая девушек своими чудными, завораживающими глазами.

– Чего бояться? – задиристо отозвалась Танька и фыркнула.

– В наших деревнях самые сильные колдуны живут. Даже немцы, говорят, боялись к нам сунуться.

– Ну так то ж враги! А мы что? Мы свои, – сказал Игорь.

– Тоже верно, – признал Федка, усмехаясь и почесывая затылок.

Все засмеялись.

Мир казался нам тогда простым и ясным, как черно-белые картинки в учебниках: вот свой, вот чужой, это хорошее, а то плохое, – о чем и задумываться-то?!

* * *

– А вот отгадай, что это: родился – вился, жил – мучился, пал – убился; нет ему ни отпевания, ни погребения. А?

Мы переглядываемся, молчим. В избе сгущаются сумерки, хотя на дворе еще светло. Федка вспыхивает от гордости: наконец-то студентов в лужу посадил. Белобрысая челка, взмокшая от жары, налезает ему на глаза.

Лева Кондратьев спохватывается:

– А нет, вспомнил! Это про горшок загадка. Горшок глиняный разбился…

Федка шумно вздыхает.

– Ну, ладно, и эту отгадали. А вот ишшо. Дом шумит, хозяева молчат. Пришли люди, хозяев забрали…

Ольга деловито уточняет:

– Дом в окошки ушел? Кажется, знаю…

Ольгу бесцеремонно прерывают. Мы и не заметили, как вошла хозяйка избы, бабка Устья. Раздался скрипучий голос из темноты:

– Расходитесь. Свечеряло ужо.

И землистое старушечье лицо в обрамлении белого платка показалось из-за печи.

– А вот это знаете: мать толста, дочь красна, сынок в трубу ушел? – не унимается Федка. Но бабка сердито окликает:

– Кому сказала? Хёмар. Ну?!

Мы все побаиваемся бабки, даже Федка, которому Устья приходится какой-то родственницей. Нехотя принялись собираться. Спальные места давно распределены: девочки спят в избе, парни – в сарае, на сене. Выходим проводить ребят. Лева сразу закурил, отойдя к калитке. А я спрашиваю Федку:

– Что такое «хёмар»? И почему вечером загадки нельзя?

Удивительные зеленые глаза с веселым недоумением смотрят на меня. Федка мнется, пожимает плечами.

– Хёмар – значит сумерки.

– Хмарь, то есть? – вмешивается Лева.

Федя кивает. И, глядя куда-то в сторону, тихо добавляет:

– Старики говорят: загадку отгадать – все равно что ключ к замку подобрать. Отгадаешь, а нечистая ночью дом отомкнет.

– Нечистая?

– Ну, черт, по-вашему. Или лешак.

Где-то близко хрустнула ветка. Я от неожиданности пугаюсь и оглядываюсь. Лес с деревней совсем рядом. Все время кажется, что в тени между елями кто-то ворочается.

Может, в городе про лешаков и смешно услышать, но здесь – нет. Никто даже не улыбнулся. В наступившей тишине звенят комары. Свежо, зябко. В душную избу возвращаться неохота, но и снаружи оставаться страшновато.

– Я про это слышал, – почему-то шепотом говорит Лева. – Вечером можно только сказки. Сказочное слово – оберег для дома.

– Вот завтра вам будут сказки. Устья Филиску приведет – она у нас тьму их знает.

Федка улыбается. Улыбка у него хорошая – открытая, ясная. Только редко он улыбается. Впрочем, как и все тут.

* * *

Деревня, и без того некрупная, с войной потеряла больше половины жителей. Дворов девять жилых, остальное – заброшенные дома. Детей всего трое, да и те – бледные, хиленькие, словно поганки на болоте. Мальчик и две девочки. Тихие такие.

Здесь вообще все негромкие.

Когда мы приехали сюда на грузовике – вся деревня вышла глядеть. Люди встречали нас, стоя у оград своих домов темными призраками.

В торжественной тишине под настороженными взглядами идти нам было неуютно. На неширокой и недлинной улочке даже собаки молчали. Куры и утки тихо шарахались из-под ног.

– Здоро2во, земляки! – приветствовал односельчан Федор, взмахивая рукой.

Ему кивали, но без особой сердечности, как мне показалось. Никто из мужиков не подошел, чтобы пожать Федору руку. Бабы, прикрывая платочками лица, отворачивались.

– Что-то они тебе не шибко рады, а, Федор? – заметил Дима.

– А у нас, Митрий, народ без дела никому не радуется, – с досадой ответил наш проводник.

Я подумала тогда – неловко человеку, что посторонние заметили эту странную угрюмость его родной деревни.

– А вон, смотри-ка! Я вижу – вон там тебе очень даже рады, – ободрил Федора Лева Кондратьев.

Мы взглянули: на другом конце улицы, на самом отшибе, стоял старый покосившийся дом. Покрытый дранкой, он был того серебряного цвета, какой приобретают некрашеные избы, за многие годы вымоченные дождями, умытые снегами и обветренные пургами. Время накладывает этот благородный отпечаток на дерево, как патину на бронзу.

По всему было видно, что этот дом – в деревне самый древний. На кривом крылечке, держась за ручку рассохшейся двери, стоял на трясущихся ногах горбатый старик и манил нас к себе рукой.

– Это ведь он нас зовет? – спросила, прищуриваясь, Ольга.

Федор замер, глядя на древний домишко и старика. Лицо у него вытянулось, напряглось.

– Ребятки! Феденька! Чего встал? Веди гостей ко мне. Изба большая, места всем хватит.

Бойкая невысокая старушка откуда ни возьмись появилась на пути, будто из-под земли выскочила. Глазки черные, блескучие, как у мышки, но остренькие, цепкие: всех нас одним взглядом окинула, обрисовала – и словно на иглу нанизала.

Это и была бабка Устья, Устинья. А ее сестрица Филиска – самая старая в деревне жительница. Так нам Устья сказала.

– А сколько вашей сестре лет? – поинтересовались мы.

– Да кроме Матти, никто уж не вспомнит, – подала голос какая-то из баб, глядевших на нас из-за забора. Старуха Устинья строго зыркнула на выскочку.

– Кто такой Матти? – спросила я. Никто не ответил.

– За мной идите, – приказала бабка Устья. – И ты тоже! – велела она Федке. Похоже, никто в Корбе не смел ослушаться эту старуху командиршу.

Мы, разумеется, тоже.

* * *

Страх, который вызвал во мне вид здешнего леса, избыток дорожных впечатлений или просто духота в избе, где мы устроились на ночлег, – не знаю, что именно стало причиной, но крепко заснуть не удалось.

Далеко за полночь я проснулась от какого-то шороха или скрипа.

Открыла глаза, но темнота в избе стояла такая, про какую говорят – хоть глаз выколи. Не имея возможности видеть, я острее обычного воспринимала звуки, и это было неприятно. Я пыталась слушать размеренное дыхание спящей под боком Ольги и тихое сопение Тани на соседней лавке, но в уши лезли странные крики ночных птиц в лесу, потрескивание старого дерева на чердаке, шебуршание мышей в стенах.

И тут я отчетливо услышала чей-то сердитый голос:

– Не ходи к нему.

Кровь бросилась к моим щекам, сделалось невыносимо жарко. Что это? Кто это сказал?

Я откинула одеяло, потихоньку слезла с кровати, подошла к двери. В сенях кто-то был.

В приоткрытую щелочку я увидала, как за дверью шевельнулись две тени.

Я прислушалась. Сердитый голос бабки Устьи выговаривал кому-то:

– Ума у тебя нет, что ли?! Еще бы не страшно старику помирать! Да только ты меня не жалоби. За свои мерзости он расплачивается. Сколько лет ждали, что он нас от себя освободит, а тут ты… явился. На рожон лезешь?! Против обчества…

Последнее прозвучало зловеще, как угроза. Но вдруг бабка взволновалась.

– А ну, стой-ка! Что это там? Мерещится мне… Ты, когда сюда шел, ничего не видал? За колодцем? Последнее время у нас с водой плохо…

Ответа я не разобрала. Потом говорящие притихли. Я затаила дыхание. И снова раздался свистящий старушечий шепот:

– Ладно, иди спать. И смотри – молчок! За приезжими этими поглядывай. Девки бойкие, парни шустрые. Не ровен час…

Я удивилась – чего это старуха нас опасается, чем это мы ей не угодили? Но разговор в сенях уже окончился. Собеседник старухи что-то буркнул и, потоптавшись, ушел.

Едва я успела лечь и укрыться одеялом, в сенях скрипнула дверь – вошла бабка Устья.

Приблизившись к кровати, где лежали мы с Ольгой, бабка постояла над нами, слушая дыхание спящих девочек.

Что-то тихо побормотала себе под нос – вроде бы молитву, не знаю – и ушла к себе на полати, за занавеску, спать.

Странная эта Устинья. Что за тайны могут быть у простой деревенской старушки?

Хотя, если честно, на простую старушку она нимало не походила. Скорее на ведьму или Бабу-ягу. От одного ее голоса у меня мурашки по спине бегали. Здорово она меня напугала.

Заснуть удалось только под утро.

* * *

– Ну, так что вы хотите узнать, ребятки? – сощурившись, спросила нас вечером бабка Филиска.

Весь долгий северный день мы развлекались, как могли, стараясь совмещать приятное с полезным. Осматривали деревню, ходили к колодцу-журавлю, помогли наносить воды для

бани и домашних нужд нашей хозяйки бабки Устьи; потом в бане парились с дороги и даже ныряли в ближайшее озерцо.

Называется оно Рыбозеро, но рыба тут совершенно ни при чем: «рыб» по-местному – «куропатка». Я заметила, что здесь вообще многое как-то сбивает с толку… Сказала об этом Диме и Леве, но они только хмыкнули.

Девочки купаться не решились, ждали мальчишек на берегу. Среди молодого ельничка комарье налетело жрать нас как оглашенное. Ребята нырнули в воду со скалы, и Лева сразу отказался от мысли поплавать: вода в хрустально-чистом озерце, как в полынье зимой, – ледяная. В августе никто здесь не купается, хотя, вообще-то, еще тепло.

Федя показал нам ягодники – они совсем рядом с деревней, далеко ходить не надо. Поели немного морошки и брусники. Все ягоды, кроме морошки, местные называют одним словом – «бол», а может, я что-то не так поняла, не знаю.

Возвращаясь деревенской улицей к дому Устьи, смотрела на лица местных. Эти люди избегали открыто глядеть на нас, но исподтишка наблюдали за чужаками с какой-то тревогой.

И только один нам явно радовался – давешний дед, обитатель древней развалюхи.

Он снова торчал на своем крыльце, придерживаясь за ручку двери, как будто и не уходил никуда, врос ногами в землю.

На вид дряхлый и слабый, странно, что он все время один – такой старый человек, несомненно, нуждается в уходе.

Мне почудилось, местные его побаиваются. Но чем он, больной и немощный, мог напугать их?

Его присутствие давит на людей. В особенности – на Федора. Проводник наш просто сам не свой делается, когда видит старика. Вот только что улыбался, рассказывая про здешнюю охоту, а увидел горбатого деда – и заледенел весь.

Дед уставился на нас. Водянистые глаза его уперлись в меня. Он поднял правую руку и поманил:

– Эй! Девочка. Подойди, не бойся…

Что-то прошелестело надо мной, изнутри словно черной водой Рыбозера захлестнуло, в ушах заколотилась кровь…

Опомнилась я, только когда услышала голос Федора:

– Дед, аста!

Кажется, я сделала несколько шагов в сторону дедовой избы. Старик открыл черный беззубый рот, ухмыльнулся.

– Нейчукэ! Нейчукэ…

Федор схватил меня за руку.

– Аста!

Сердито замахал на деда, дернул меня за руку, и мы ушли.

– Что случилось? Кто этот старик? Чего хотел? – Недоуменные вопросы посыпались на Федора, но он вместо ответа набросился на меня:

– Зачем ты пошла к нему?

Проводник наш был встревожен и раздосадован.

– Но он же меня звал, – растерялась я. – Старый человек. Может, помощь нужна?

Я ничего не понимала. Ольга с Татьяной и ребята вытаращились на меня как на ненормальную.

– С чего ты решила, что он тебя звал? – тихо спросила Ольга.

Я, в свою очередь, уставилась на ребят:

– А вы что, ничего не слышали?

Лева выпятил толстые карасьи губы и помотал головой:

– Не понимаю, что мы должны были слышать? Старик молчал.

– Да нет же! Он звал меня. – Я совершенно растерялась. А тут еще и Федор напустился как бешеный:

– Никогда не подходи к дому Матти, поняла?! И вы все тоже! Никто не подходите! А то лишит он вас ума – ищи-свищи потом по всему лесу… Эх, в пеньки вас, городские… тудыы-растудыть!

Федор кипел от злости. Нижняя челюсть у него мелко и страшно подрагивала, будто он пытался раскусить ею какую-то невероятно твердую кость – раскусить, размолоть в муку…

Мы молчали, потрясенно наблюдая за пугающей метаморфозой нашего проводника. Такой добрый, веселый, спокойный парнишка – и вдруг…

Федка удалился, дергаясь и подскакивая на ходу от напряжения, от распирающей его злобы.

Мы переглянулись. Случившееся всех обескуражило.

Деревенские по-прежнему наблюдали за нами. Они явно ждали от нас подвоха, беды, лиха какого-то. Почему? Чем мы их обидели или напугали? Все это было непонятно, обидно и очень странно.

* * *

В избе бабы Устьи нас поджидали горячий чай из настоящего латунного самовара с печеньями и вареньями и местная сказительница – самая старая, не считая дряхлого Матти, жительница Корбы бабка Филиска, или полным именем – Фелицата. Устьина сестра.

Она была еще меньше и худее Устьи. Сухонькая, коричневая, с серебряными прядками волос, торчащими из-под белого в цветочек платка, лицом она напоминала пряник и была вся такая уютная. Пахло от нее чем-то сладким, травами какими-то вроде аниса.

– Ну, что же вам рассказать, ребятки? – прошелестела Филиска.

Лева заулыбался, принялся размахивать руками и разглагольствовать. Он это любит. Уже и тему своей диссертации приплел…

Филиска вежливо кивала, а Устья взяла Федора под локоть и, отведя его за занавеску, стала о чем-то там шептаться с ним.

Мне страшно хотелось узнать, о чем они говорят. Поэтому я подобралась ближе и прислушалась. Слышно их было неплохо, но…

– Эдго куччуну колдуйнот? – настойчиво допрашивала Устья уже знакомым мне свистящим шепотом. – Эдго колдуйю? Колдуйю?

Моих скромных филологических познаний хватило, только чтоб догадаться, что речь идет о колдовстве. Встревоженная, я отошла от занавески.

– Ну, так что же вам рассказать? – еще раз спросила, доброжелательно оглядывая ребят, бабка Филиска.

– Расскажите что-нибудь о колдунах! – попросила я. – Они существуют?

Шепот за занавеской прервался. Устья и Федка вышли из своего укрытия и подозрительно уставились на меня.

Девчонки и ребята вместе с Левой – тоже. Предложенная мной тема им показалась странной, чтобы не сказать – дикой.

Все молчали. Стало слышно, как шелестит на улице дождик, тихий, моросящий.

В окна заглядывала белесая мгла. Капли тумана оседали и скользили по стеклам, похожие на слезы какого-то огромного невидимого существа.

Однако Филиска как ни в чем не бывало улыбалась своим темным пряничным ротиком. Услыхав мою просьбу, она покхекала, откашлялась, рассыпая сухие крошки своих старушечьих смешочков. Сказала:

– А что же? Про колдунов так про колдунов. Моей мамке ее мамка сказку сказывала про одного такого, который с городом воевал.

– С каким городом? – удивился Лева.

– С вашим. Когда его еще на свете не было, – хитро прошамкала Филиска.

Девчонки переглянулись, а Игорь степенно попросил:

– Рассказывайте, бабушка Фелицата.

И Филиска нам рассказала.

Лева записал ее повествование слово в слово и после литературно обработал запись для одного журнала. Вырезка той публикации до сих пор хранится у меня.

Пророчество о небесном граде

В давние времена жил на берегу холодного моря народ, старые люди. Сами они так и называли себя – люди, людики, людины.

Были людики племенем бродячим, занимались кто охотой, кто рыболовством. Грибы, ягоды, мед собирали, оленей разводили, соль варили. В общем, жили – не тужили, хозяйничали на своей земле как умели, не бедствовали.

Вместо богов почитали они хозяев «ижэндэд» – духов озер, рек, камней, лесов и деревьев. Люди старались хозяев не сердить, ублажали их по мере сил. Выливали к корням деревьев молоко, оставляли у камней рыбу из улова. Делились всякой своей добычей и удачей. И, конечно, почитали предков.

Мертвые, которые свою жизнь окончили и ушли в Маналу, – они ведь умней живых, как старшие умнее младших. Вот они своему роду на земле помогают, советы дают, оберегают от несчастий.

«Древний народ, во мху уснувший, под снегом сопревший» – так называли своих мертвых люди и, если что, просили у них совета и защиты. А помогали им в этом «нойды» – волхвы.

И были у них волхв Земной и волхв Небесный.

Земной носил вместо шапки сухую медвежью голову, а Небесный – шкуру и рога лося. Земной волхв разбирался в охоте и рыболовстве, а Небесный – вызнавал прошлое и будущее. Во сне приходили к нему предки рода, и любого из мертвых мог он выспросить о том, что ждет впереди его народ.

Так жили старые люди.

Но все мало-помалу меняется. Пришло время, и увидел Небесный волхв во сне своего умершего недавно отца. Явился тот хмурый и опечаленный, сказал:

– Горе людям! Летит на нашу землю орел с запада, несет под своими крыльями сотни и сотни мертвых. Это сильный народ, в руках у них железные ножи и даже одежды железные. Хотят они поставить здесь дома, наложить дань на людей и завести свои порядки. Предупреди всех: идет беда с запада.

Пересказал Небесный волхв этот сон своему народу; не порадовались люди таким вестям. А волхв Земной принялся насмехаться над волхвом Небесным: мол, худой ты колдун – только и годен плохие вести носить, а в чем же помощь твоя? Вот, мол, смотри, как я сделаю.

Обошел Земной волхв весь берег людей, колдовал, ворожил семь дней: укрепил заклятиями скалы, пески и камни, сговорился с духами моря,

деревьев, с западным ветром, у которого черное сердце и скачет он на черном коне.

И вот, когда подошли к берегу чужие лодьи чужого народа из свейского племени, поднялась буря, и лодьи разбились о скалы. Много чужаков погибло, но выжившие выбрались на берег, поставили большие земляные дома, возвели крепость, а людей с тех мест прогнали. Кто не хотел уходить – тех убили.

Тогда Земной волхв сговорился с духом болот – и размыла болотная вода земляную крепость. Снова погибло много чужаков. Но те, кто выжил, позвали себе подмогу и опять поставили на берегу крепость – на этот раз каменную. Многие капища ижэндэд разрушили, заставили людей таскать камни для постройки, а тех, кто не подчинился, убили.

Сговорился тогда Земной волхв с северным ветром, у кого сердца вовсе нет и ледяное жало вместо рта, – пришла суровая злая зима на берег людей. Пропали звери в лесу, рыба в море на дно залегла, голод пришел надолго.

Гибли чужаки от голода, холода и болезней, но и людики тоже гибли, совсем мало их осталось. А Земной волхв, перекинувшись медведем, входил в дома пришлых и задирал насмерть. Много крови лилось.

Увидав лихую силу волшебства, стали люди просить волхва Земного, чтобы избавил он их от своей немилости, и приносили ему дары, будто он сам стал хозяином.

Радовался Земной волхв и гордился собой.

А Небесному волхву тем временем снова явился во сне умерший отец. И сказал новое пророчество:

– Летит на нашу землю орел с востока, несет под крыльями тысячи и тысячи мертвых. Народ этот силен: срубит он наш лес, построит лодьи, чтобы плавать по морю, и дома построит каменные, много. Прежней жизни не станет, и все переменится, когда придет этот сильный народ.

Небесный волхв передал пророчество своему племени. Испугались люди – вот и новая напасть пришла! Что делать?

А Земной волхв тут как тут, смеется. Медвежья голова трясется на нем от хохота.

– Нечего вам бояться! – сказал. – Сам я погублю чужаков, всех до единого. Все местные ижэндэд служат мне, и я над ними самый сильный хозяин.

Начал волхвовать колдун, семь и еще раз семь дней колдовал. Топи болотные заговорил, деревья в лесу задобрил, со всеми чертями речными и морскими уговоры заключил.

И вот явились чужаки с востока. Принялись рубить лес, класть гати, валить деревья и строить лодьи. Возили камень, запруживали ручьи и ставили каменные дома.

А заговоренные духи земли начали губить пришельцев и на морском берегу, и в болотах, и в лесах. Реки разливались и топили их, деревья в лесу падали им на головы, болота затягивали в трясины, лихорадки и озноб сводили чужаков в могилу.

Задумались старые люди: поднял Земной волхв всех ижэндэд против человека, накормил и напоил кровью – захотят ли они когда-нибудь остановиться? Или, поубивав чужаков, заодно и людиков всех до одного истребят? Сказали люди Земному волхву: обильно посеял ты смерть в нашей земле. Только что же взойдет от твоих посевов?

А Земной волхв, человек со звериной душой, посмеивается.

– Это разве беда? Пусть гибнут чужаки. Пусты дома, что построили они, и пусты дела их. Все тонет в болотах.

Но сказал тогда Небесный волхв:

– Не все ты знаешь, Медвежья голова! У народа с востока есть сильный богатырь и такой покровитель на небесах, который всем ижэндэд хозяин и каждому человеку хозяин тоже.

В небесной Манале решено было построить город, который будет для Маналы вратами и ключом. Вот почему пришел сюда этот народ. Это сказал мне мой отец, и мой дед, и прадеды мои. Не тебе и не твоим ижэндэд со всей этой силой тягаться!

И вскоре сбылось сказанное Небесным волхвом.

Увидав, что каменные дома, поставленные по одному, тонут в болоте, богатырь восточного народа взял свою рукавицу, начертал на ней рисунок города, всего целиком – и подкинул высоко в небеса.

Наутро рукавица спустилась с неба, а город уже стоял на ней, готовый и крепкий, полный красивых каменных домов, дорог и каналов. И сияли над небесным градом золотые кресты – знаки нового бога, который сильнее всех местных духов-ижэндэд.

Это чудо так поразило старых людей, что вся жизнь их с той поры переменилась. Перестали они рыскать, словно звери, среди лесов за пропитанием, а поставили на своей земле крепкие деревянные дома, научились пахать, хлеб растить, коров держать и жить, как и мы сейчас живем.

* * *

Слушали мы бабку Филиску, слушали… Игорь, конечно, заснул. Таня его толкала, чтоб хоть не храпел. Лева едва дотерпел до конца рассказа – так долго молчать для него мука. Дождавшись, пошел занудствовать, пытаясь привязать устную легенду к исторической канве:

– Свейский народ? Хм… Думаю, в вашем сказании отражены попытки шведов отвоевать у Новгородской республики торговые пути. И насчет крепости понятно – сперва Ландскруна, «Венец земли», потом крепость Ниеншанц. И, наконец, деяния Петра. Верно, бабушка Фелицата? Небесный град… Ключ и врата… Хм… Любопытно. Что-то в этом есть. Я думаю…

Лева долго бы разглагольствовал – он у нас такой. Но я его перебила.

– А что же с волхвами-то стало? – спросила я пряничную Филиску.

Бабка Устья дрогнула щекой. До сих пор она молчала, а тут – словно идол деревянный проснулся и осерчал.

Я даже испугалась, ожидая… Чего? Не знаю. Она замерла и молча смотрела перед собой, словно терпела какую-то внезапную боль.

Добродушная Филиска спокойно ответила:

– А что с ними стало? Как со всеми людьми – по заслугам.

Небесный волхв – белый колдун, он душегубства не творил, с нечистью не связывался, помогал людям. Жил долго и умер легко.

А Земной волхв, колдун черный… Того долго земля не принимала. Много крови пролил, да и жаден был. Черти-ижэндэд, с которыми он уговоры заключал, терзали его. Они ведь, черти, как? Все по дому переделают: и дом выметут, и дров наколют, и воды нанесут, и горшки перемоют, но покоя-то они не терпят!

И вот дергают своего господина: давай да давай нам работу. А не то самого тебя разорвем, защекочем. Вот черный колдун и вертелся все, работу им давал: то скотину у людей по болотам черти разгонят, то снова собирают. Драки между соседями устраивают. Сети рыбакам то позапутают, то снова распутывают. Гривы лошадям в колтун собьют. Ну а если и совсем делать нечего – так сидят, у дома веревки из праха завивают, в глаза прохожим песком сыплют.

Устал черный колдун от своих верных слуг до того, что о смерти заскучал. А черти и помереть ему не давали. Корчи насылали, трясучку – мучили, не отпускали на покой. Один только способ есть черному колдуну спокойно помереть – должен он хоть обманом, хоть хитрыми посулами, но непременно кому-то своих чертей в руку передать.

А до того – хоть истлей он весь от старости, как пень трухлявый, – а не помрет ни за что.

– А если не сможет? – подал голос из угла Федка.

– Чего не сможет? – спросила Филиска.

– Так… чертей-то передать?

Бабка пожала плечами:

– Ну, тады что…

– Тады кол осиновый помогёт, – твердо вымолвила бабка Устья. – Коли родня сжалится. Ну, все. Расходитесь ужо. Не лучину ведь зажигать! А лектричества у нас нету седня – Дементий сказал, за Рыбозером столб сопрел, аварийка завтра приедет.

Сказала – как отрезала. Ни у кого и в мыслях не было возразить.

* * *

Всю ночь мучили меня дурные сны: говорящие медвежьи головы за окном, бабка Устья верхом на ухвате, Филиска, изо рта которой сыпались пряничные города… Федка, мокрый, уставший, который приходил плакать в избу: «Не могу больше. Сил нет терпеть. Черти замучили…»

Несколько раз просыпалась я, дрожа от ужаса, но в темноте избы делалось еще страшнее: все казалось, что кто-то царапается в подполе, странные потрескивания идут от бревенчатых стен, и мерещились красные огоньки в черном жерле русской печи – то ли угли разгораются, то ли нечисть таращится на меня из мрака.

Не в силах бороться с такими страхами, я зажмуривала глаза и вновь проваливалась в очередное нелепое сновидение.

Утром меня разбудила Татьяна:

– Вставай! За нами машину прислали!

Я подскочила, вся в испарине со сна. Попыталась собраться с мыслями.

– Вставай же! – теребила меня Татьяна. – Лева велел срочно собираться всем!

Танька выглядела испуганной. Бледная и растрепанная Ольга уже металась по избе, заталкивая в рюкзаки раскиданные повсюду наши вещи: рубашки, сохшие на печи носки и свитера, штормовки и всякую мелочь.

– Да что за спешка такая? Мы же всего-то три дня побыли, а собирались – не меньше недели!

Я села на постели, пытаясь хоть что-то понять в происходящем. Ольга, всегда такая спокойная, закричала на меня:

– Собирайся!

Татьяна старалась держать себя в руках, но видно было: ей это тяжело дается. Я начала спешно одеваться под грозным Ольгиным взглядом, а Танька вполголоса объясняла:

– Я ничего не знаю. Сама понять не могу… Левка утром прибежал как полоумный, еще темно было. Растолкал меня: срочно, говорит, сейчас же вставай, поднимай девчонок. Нам райком машину пришлет, надо немедленно ехать. А то, говорит, дождями дороги тут разве-

зет… Или уже развезло? В общем, ехать надо как можно быстрее, а то хуже будет. Потому что им теперь не до нас… Тарахтел, тарахтел. Я ничего понять не могла. Мне показалось, что это как-то с Федором связано. Не знаю, спросонья, что ли? Я даже сейчас понять не могу: вместе они с Левой приходили или Лева один тут был? Сейчас вот говорю тебе, и все мне кажется, что вроде бы Федор с Левкой рядом стоял, только бледный до зелени, будто смерть увидал. Вроде он попрощаться с нами хотел, но ведь все спали.

Я таращилась на Татьяну, открыв рот и ничего не понимая.

– Короче говоря, – рассердилась Танька, – не знаю я ничего, что тут творится, в этой деревне! Левка сказал: есть оказия ехать, так и едем сейчас. А то потом, может, месяц никакой машины не будет. Все!

– Да. Пока ехать дают, – сказала Ольга. Она уже успела все наши вещи собрать и теперь тянула из-под меня спальник, чтобы и его тоже сложить.

Я встала. Зачем-то начала искать расческу, забыв, что Ольга наверняка уже сунула ее мне в рюкзак. Я крутилась по избе, разыскивая расческу, а Татьяна села обратно на постель и вдруг говорит:

– А я знаю, кто нас отсюда выпер. Наверняка ведьма эта, бабка Устья.

– Тише ты! – зашикала на нее Ольга. – Вдруг услышит? С ума сошла?!

– Не услышит, – уверенно заявила Татьяна. – Она и дома-то не ночевала, божий одуванчик.

– Что ты говоришь?!

– Я вспомнила. Я ночью слышала, как они с Федором говорили в сенях. Он ее просил, прямо-таки умолял. Говорил: подождем, подождем еще. Измучился, говорит. Чего, мол, тебе Матти плохого-то сделал? Все-таки, мол, родной дядька он мне. А она ему про чертей что-то… И потом злобно так: мол, сам знаешь – чего! Пока он жив, никому, говорит, покоя нет. Сам колдун не сгинет, и чего еще ждать…

Услыхав про колдуна, я непроизвольно вцепилась в Ольгу и затаила дыхание.

– И еще она сказала… Я плохо расслышала, не ручаюсь, но мне показалось…

– Что? Что?! – наседала я.

Ольга толкнула меня, бросила последнее полотенце в свой рюкзак, а Таньке сказала:

– Не надо. Молчи.

Татьяна вдруг побледнела вся, скривилась и руку к горлу поднесла, как будто у нее дыхание перехватило. Чувствуя, что происходит что-то страшное, я просто примерзла к лавке, на которой сидела.

И тут в избу влетели Дима с Игорем. Они несли три рюкзака – свои два и еще Левкин.

– Слушайте, а где все? – спросил Игорь. – Деревня как вымерла. Никого не видно. Хотели зайти попрощаться – никого нет. Избы пустые стоят… И Федор пропал.

– Где Лева? – спросила я. – Где?!

Про деревню и про Федора мне думать совершенно не хотелось. Плевать. Пусть он комсомолец, пусть вроде как участник экспедиции, и вообще хороший парень, но… нет. Это все не мое дело. Не наше. Хватит!

Снаружи раздался испуганный Левкин голос:

– Эй, вы где там?! Давайте сюда!

Мы похватали рюкзаки, Дима с Игорем взяли под руки сомлевшую Татьяну, и всех нас единым порывом вынесло на улицу, под унылый, нескончаемый дождь.

Липкая морось тумана облепила нас со всех сторон, пробралась мокредью под одежду, за шиворот.

Не зная, как выбрать верное направление при такой общей невидимости, мы застыли, озябшие, и торчали во дворе посреди какого-то белесого облака, павшего с неба на землю.

Клочья тумана дышали на нас, наступая и отступая, словно живые. Я моментально продрогла в этом киселе дисперсно рассеянной в воздухе воды.

Потом мы услышали ворчание двигателя: подъехал автобус – облупленный «пазик», покрытый бурыми пятнами ржавчины, которые походили на пятна запекшейся крови – словно он только что со скотобойни приехал. Окна автобуса занавешивали черные шторки.

– Это что же? – Ольга дернулась и наступила мне на ногу. – Похоронный автобус?

Лева шмыгнул носом:

– Ребята. Надо выбираться.

Он был очень серьезен. Я по лицу его поняла: Лева тоже что-то узнал. Что-то крайне неприятное. У него было такое лицо, что мне стало жаль его. Как руководитель экспедиции, он за всех нас нес ответственность.

– Не будем привередничать, – сказал Лева, оглянулся по сторонам и решительно полез в раскрытые двери автобуса. – Иногда у людей просто нет выбора. Ну?! Забирайтесь сюда. Не стойте!

– А как же Федор? И с бабками попрощаться? – не понял Димка. Игорь подсадил в автобус Татьяну, потом Ольгу, потом мне протянул руку. Димка все стоял и крутил головой, ничего не соображая.

– Вперед, – подтолкнул его Игорь. – Долгие проводы – лишние слезы.

Димка пожал плечами, закинул в автобус рюкзак. Вместе с Игорем они влезли и уселись с правой стороны. Лева постучал по стеклу кабины водителя.

– Все на месте! Двигай.

Двери закрылись, и мы медленно выкатились по раскисшей на дожде деревенской дороге. Мотор урчал, машину вело, кидало из стороны в сторону.

Я приподняла черную занавеску, протерла запотевшее стекло. Серебряные избы потускнели от воды, ограды почернели. Дряхлый домишко колдуна Матти стоял распахнутый, расхристанный. На опустелом крыльце никого не было. Никто не держался за ручку открытой двери.

Вся деревня выглядела мертвой и покинутой – ни собаки, ни кота на улице. И ни одного печного дымка над трубами.

Куда все подевались? Жуткие мысли лезли в голову. Мы, кажется, выбрались уже из деревни; мелькнуло слева тяжелой маслянистой чернотой Рыбозеро, и тут Лева сдавленно крикнул:

– Смотрите! Вон они…

Мы кинулись к окошкам. Странная, фантастическая, кошмарная картина предстала нашим глазам. На поляне перед чернеющим еловым частоколом стояли они все. Темные силуэты в предрассветной мгле, окруженные невысокими столбиками. Столбики эти – я не сразу догадалась – были кресты.

Туман дохнул и уполз в низину. Воздух сделался прозрачным, и картина происходящего, словно детская переводилка, проявилась, проступила отчетливее.

Вся деревня собралась на кладбище перед свежей могилой. Разрытая черная почва подсказывала, что здесь только что копали, что-то бросили вниз, что-то скормили матери сырой земле.

На невысоком холмике стояли двое: бабка Устья с жестким лицом деревянного идола и Федор, сморщенный, скукоженный, совершенно некрасивый. Жалкий.

Мы смотрели, проезжая мимо… Но я увидела всю картину цельно, сразу и так ясно поняла ее, потому что ожидала – каким-то женским внутренним напряженным чутьем. Глаза жадно охватили все мельчайшие детали, словно внутри меня взведен был фотоаппарат с самым кратким временем выдержки: вспышка, щелкает затвор – готово! Увиденное мельком навсегда запечатлелось в сознании.

Не знаю, как много заметили остальные, – мы не обсуждали деталей ни тогда, ни после. Нам казалось, так будет легче…

Ведь мне совершенно не хочется думать плохо о бабке Устье, о Филиске, Федоре и других людях, с которыми мы познакомились тогда, в Корбе, в августе 57-го!

И я вовсе не уверена, что стоит всерьез воспринимать субъективные картинки, которые сохраняет память. Слишком страшно. Но…

…Федор поднял голову, глянул заплаканными глазами на старую Устинью. Та, не дрогнув ни одним мускулом, кивнула. Кто-то из мужиков подтолкнул под руку – мол, давай, чего ждешь, парень? Федор размахнулся и, раскрыв в немом крике рот, всадил заточенный кол в шевелящуюся под ним, осыпающуюся землю. Могильный холмик дрогнул, земля просела и опустилась.

Нет, я не хочу плохо думать об этих людях.

Но я уверена – они похоронили своего черного колдуна Матти заживо. И Федор, его родной племянник, сам пригвоздил его к земле осиновым колом.

Иногда у людей просто не бывает выбора, так сказал нам в тот день Лева.

Атакан

Литейный мост

Возвращаясь домой, я почему-то изменил обычному маршруту своих вечерних моционов.

Было жарко и пыльно. Но вблизи Литейного моста с Невы пахнуло водой – не прохладой, а таким острым водяным духом, что сразу думается о свежем русалочьем смехе, переливчатом блеске волн, мокрой губке зеленой водоросли на камнях…

Я и не заметил, как свернул к набережной и спустился к воде. И тут же услыхал чудовищные проклятия.

У гранитного парапета, согнувшись в три погибели, стоял невысокий человечек и ругался на чем свет стоит, зажимая пораненную руку. С запястья его лилась кровь.

Зажать порез как следует ему мешала бутылка, которую он еле-еле удерживал за горлышко тремя пальцами – обычный недорогой портвейн.

– Помогите, пожалуйста, – прошипел этот тип при виде меня, морщась от боли. – Тут, в кармане, платок…

Никакая сила на свете не заставила бы меня сунуть руку в карман к незнакомцу – я даже со своими детьми, когда они еще пешком под стол ходили, так не поступал. Поэтому я протянул руку к бутылке, которую человек еле удерживал, и жестом показал: давай помогу, подержу. Давай!

Как мне кажется, на алкоголика я не похож. При взгляде на меня нельзя предположить, что, едва завидев бутылку с градусами, я вырву ее из рук владельца и скроюсь в голубой дали.

Но, думается, типу с бутылкой примерещилась именно эта картина, потому что он как будто испугался. Пробормотал:

– Нет-нет! Секундочку. Будьте добры… Э-э-э…

Поставил бутылку у ног и выдернул платок из кармана джинсов.

– Пожалуйста, прошу вас…

– Надо бы продезинфицировать. Перекисью. Тут аптека недалеко, – сказал я, протягивая руку к платку.

– Э-э-э… У меня к вам огромная просьба, – сказал незнакомец, отдергивая платок и кривясь от боли. – Сперва откройте бутылку! Сумеете?

«Ага, – подумал я. – Этот тип дезинфицируется изнутри».

Такие обычно не вызывают моего сочувствия, но этого я пожалел. Уж больно простодушно пялился он на меня своими голубыми гляделками и как-то легко, словно пух у младенца, летали вокруг его головы редеющие остатки рыжей шевелюры. От малейшего дуновения ветерка они вставали дыбом вокруг лысины, и это выглядело забавно: растерянный ирокез на тропе войны в каменных джунглях. Намеревался зарыть топор войны, да растерялся – асфальт кругом.

– Открыть сумеете? – тревожно повторил «ирокез».

Я кивнул. У меня всегда при себе хороший перочинный нож со штопором – друг привез когда-то из Германии, швейцарский.

– Так и быть, товарищ алконавт.

Посмеиваясь, я достал нож, отогнул штопорное лезвие, в три секунды откупорил бутылку и протянул ему:

– На, лечись.

– Я не алконавт, – высказался странный субъект, нимало не обидевшись. – Задержитесь еще на секундочку. Я мигом!

Он взял открытую бутылку за горлышко, перехватил порезанной рукой, из которой продолжала обильно сочиться кровь, и, далеко вытянувшись над парапетом, опрокинул содержимое бутылки в Неву.

Я вытаращил глаза.

Портвейн, булькая, рубиновой струйкой полился в реку; алые гроздья крови, набухая, отрывались от запястья странного типа и тоже слетали вниз.

Пару минут мы вдвоем наблюдали завораживающее зрелище. Потом вино кончилось (крови, полагаю, оставалось еще порядочно).

– А теперь платок, – с настырностью шекспировского мавра произнес незнакомец.

Я взял его платок и перевязал рану.

– Только затяните потуже, – попросил двинутый тип.

Я затянул. Тип взвыл.

Я немного ослабил узел.

– Так хорошо?

– Хорошо, – кивнул чудик и, просверлив меня взглядом, спросил: – Вы, я надеюсь, не торопитесь?

Я оглядел набережную. Неподалеку от нас двое удильщиков расположились на согретом солнцем камне у самой воды. Лица безмятежных рыболовов-любителей были полны стоического равнодушия. Они сосредоточенно изучали поплавки. Ничто не отвлекало их от медитации. Молодцы. Жаль, но я так не умею. Потому-то тип и прицепился именно ко мне.

– Да как вам сказать… – замямлил я.

– Не беспокойтесь! Я не отниму много времени, – вскричал коротышка. – Просто пройдемся. Пожалуйста!

– Куда?

– Что – куда?

– Куда пройдемся-то? – нахмурившись, спросил я.

– А! – спохватился навязчивый субъект. – А куда хотите. Мне все равно. Главное, чтоб не очень шумно вокруг…

– Ну, тогда – туда! – Я махнул рукой в сторону Летнего сада, и странный человек потянулся за мной как нитка за иголкой.

Он обхватил мой локоть и уже не отпустил. Теребил и дергал рукав моей рубашки в такт своему эмоциональному повествованию. Такая у него обнаружилась скверная привычка. Для начала он сообщил мне, что:

– Два дня назад умер мой дядя.

– Сочувствую, – отозвался я. – Это… нехорошо.

Спрашивается: какое мне дело до его дяди?

Я, конечно, человек старой формации, но выражать соболезнования совершенно не умею. Все же я попытался промычать нечто невразумительное, чтобы как-то обозначить, прилично случаю, печаль. Он, однако, остановил меня.

Помахал ладонью в воздухе перед собой и пояснил:

– Нет-нет, ничего. Я же совсем не знал дядю. Да что там: я не знал и того, что он существует! Он был двоюродным братом моего отца. Отец умер, а мать считала родственника слегка помешанным. Чокнутым! Не знаю почему. Вернее, теперь-то догадываюсь. Дядя мой был шаманом. Или вроде того.

Думаю, на моем лице ясно читалась реакция на эти приятные сведения. В голосе коротышки зазвенели виноватые нотки.

– То есть он мне это как-то по-другому высказал… У него терминология своеобразная. Я просто, чтобы понятнее было…

Я скривился и уже хотел было отшвартоваться, бросив типа в бурные хищные воды городской стихии, как Стенька Разин – княжну, но он, почуяв перемену галса, трогательно заглянул мне в глаза и спросил:

– А вы вообще в шаманов верите?

Я отрицательно помотал головой.

– Вы знаете, что такое эгрегор?

Я снова помотал головой. Тип смутился и как-то увял.

– Знаете, я-то ведь тоже, в общем… Дядя мне все это рассказывал и объяснял, но я… не очень хорошо понял.

Странные, конечно, у некоторых бывают дяди. Но ведь с другой стороны – племянники за дядь не отвечают. Мало ли какой непутевый кому попался? Не повезло. Помню, мне этого типа даже чуток жалко стало.

– Ладно. Значит, служитель культа. Дальше? – подбодрил я нерешительного племянника шамана.

– Ох! Вы знаете, он долго мне рассказывал… Говорил, говорил. А речь у него такая бессвязная. Пару лет назад случился инсульт. Речь восстановилась, но плохо. Когда волнуется – с артикуляцией не справляется. Бормочет чего-то невнятно. То есть в принципе разобрать можно…

– Так и что же вы разобрали в принципе?

Я уже начал понемногу терять терпение. А тип бодро размахивал клешнями и никаких затруднений не замечал.

– Дядя рассказывал мне про наших древних предков. О том, как они пришли в здешние места и сумели удержаться на этом пятачке земли, отстояв свое право…

– Да? Это при Петре, что ли?

– Нет-нет! Что вы! Гораздо раньше! Намного раньше! Древние племена пришли на Неву чуть ли не с начала времен, как только льды отступили и море обмелело.

Но это не самое важное. Была внутри кочевого племени особая семья жрецов-шаманов. Когда племя приходило в незнакомую землю, жрецы призывали Силу этой земли и совершали обряд кровного завета между членом жреческой семьи и Силой.

Союз между ними создавал особую энергетическую сущность, в которой дух жреца и дух Силы объединялись в одно целое.

Так племя роднилось с землей, чтобы жить на ней сытно и безбедно, не вступая в противоречие с местными стихиями. Что-то вроде межплеменного брака, только магическим путем. Называлось это «атакан».

После обряда дух делался защитником племени, а племя служило созданному атакану, принося жертвы духу.

Как все это практически выполнялось – понятия не имею. Не спрашивайте. В том-то и беда… Главное, что кровная связь – завет между Силой и жрецом – неразрывна на все времена.

Атакан нельзя изжить. Сила земли вечно живая, она возрождается так же, как род людей. Все потомки жреца-прародителя, заключившего завет, и потомки потомков его должны соблюдать обязательство – служить атакану, пока не иссякнет их род.

Иначе голодный атакан обратится к злу, начнет мстить. Восстанет против людей, будет разрушать, мучить, губить все живое в подвластных ему пределах. Вы понимаете?

Я посмотрел на него. В глазах чудика что-то сверкнуло. Он понизил голос до зловещего шепота и, оглянувшись по сторонам, поведал:

– Вы уже догадались? Дядя мой – шаман. Я – его потомок, потомок шаманов. Атакан… – и замолк, обшаривая взглядом мое лицо в поисках произведенного эффекта.

Эффекта, надо признать, было ровно столько же, сколько от сообщения о смерти дяди. Я уже догадался, что встреченный мною типчик – городской сумасшедший в стадии обострения, и не намеревался его дразнить.

С психами лучше всего расставаться по-хорошему. Поэтому пришлось сделать вид – надеюсь, я был достаточно непроницаем. Как «Наутилус» капитана Немо.

Я сказал:

– Да-а? – соображая, что бы еще такое сказать, чтобы отвлечь внимание. Кто знает, что мой ненормальный приятель задумал? Вдруг прямо сейчас бросится…

Но он не бросился. Он глядел на меня с горечью.

– Даже и не надеялся, что кто-нибудь мне поверит.

Опустив плечи, он брел рядом, шаркая ногами, как бурлак на Волге, – крошечный человечек, придавленный непомерной заботой, внезапно свалившейся на него. К этой тяжести он не готов, поэтому она вот-вот прихлопнет его как муху.

И снова я его пожалел:

– Ну что вы так огорчаетесь? Ну мало ли что наговорил вам дядя! Да к тому же перед смертью. Не всему ж надо верить! В конце концов…

– Боже мой, – прошептал он. – Как же вы не понимаете?

Дрожащей рукой он притянул к себе мой локоть и прошептал:

– Вы же были на реке. Вы же только что все видели!

– Видел. Что я видел? – Я смутился под его требовательным взглядом. Оно, конечно, глупо лить портвейн в Неву, но и рвать из-за этого волосы – равно как и с гордостью колотить себя в грудь – я бы лично не стал. Подумаешь!..

Мгновение он смотрел на меня испытующе, затем отвернулся:

– Да нет, ничего.

Вспышка, казалось, отняла у него все силы. Он умолк. Вид у него был убитый.

– Бог знает, что еще может случиться здесь по моей вине, – пробормотал он, глядя на багрово отливающую в лучах заката Неву.

– Да почему ж – по вашей? – подал я голос. – Все мы в чем-нибудь виноваты…

Он перебил меня:

– Сегодня назначенный день расплаты. Атакан ждал жертвы. А я не знаю – как. Не знаю – что… Дядя умер внезапно. Он не успел ничего толком объяснить. Если что-то случится – я буду во всем виноват. Вы это понимаете?!

Я надолго задумался. Вот так мировая скорбь у этого потомка шамана! Даже если он псих – все-таки, наверное, человек не злой. Вон как переживает.

Но – сумасшедший он или здоровый – помочь я ему ничем не мог. Надо как-то выпутываться из нелепой ситуации, в которую загнали меня моя же жалость и мое же любопытство. Требовалось продумать пути отступления, а ничего стоящего в голову не приходило.

– Атакан? – переспросил я бездумно.

– Атакан. Если хотите знать, Сила здешних мест заключалась в огромной каменной глыбе. Глыба лежит на дне реки, у опоры Литейного моста.

– Почему? – глупо спросил я.

Потомок жрецов печально ответил:

– А ее туда не раз спихивали. Лет четыреста назад случилась похожая неприятность: последний из жрецов атакана рассорился с местными жителями, перешедшими в новую веру, и они убили его. А сын убитого был слишком мал и не мог служить духу Силы.

И вот пошли тогда напасти на всех, кто здесь жил, – засухи, наводнения, голод, мор. Враждебные племена и разбойники изводили народ. Кровь лилась как вода, и не было избавления от смерти ни сильным воинам, ни маленьким детям.

Люди испугались, явились принести жертвы духу, но атакан отверг все – он мстил за убийство своего кровника, жреца. Камень как камень – он не умеет прощать.

Тогда люди задумали избавиться от камня: вырыли огромную яму, скинули глыбу на дно и закидали землей. Но прошел срок – и камень вышел на поверхность. Известно: земля камни родит. И снова полилась кровь.

Придумали камню другую казнь: прорыли канаву и затопили его у берега Невы. Но такова сила атакана, что и вода не смогла удержать камень, и выбрался он обратно на сушу.

Перепугались люди, отчаялись. Взмолились всем племенем новому богу, раз старый столь сурово карал их.

Бог сжалился над людьми и наслал на их землю малый потоп. Пошли сильные дожди – день, два, месяц. Мощные потоки размыли русло реки, и камень пропал на дне Невы и с тех пор на поверхности не показывался. Но это ничего не значит. Атакан силы не потерял.

– Откуда знаете?

Щуплый потомок шамана вздрогнул. Он до того увлекся своим мрачным рассказом, что почти забыл о моем существовании. Оглянувшись, пожал плечами:

– Да это и весь Питер знает. Если уж что случалось в городе, так непременно здесь. И на суше, и на воде. Самоубийцы. Утопленники. Аварии. Еще когда строили мост – в опоре кессон прорвало, около тридцати человек утонуло. И спустя год на том же месте – взрыв на стройке. Опять жертвы…

– Почему?

Он поежился, отвел глаза.

– Не знаю, – сказал. – Дядя упоминал – какая-то история приключилась нехорошая с тогдашним жрецом. Или с его женой…

Он говорил так неохотно, что я подумал: темнит потомок шамана. А он снова принялся наблюдать за моим лицом, и физиономия у него сделалась неприятно звериная, хитрая.

Странный тип. Чего он, в конце концов, от меня хочет? То кидается незнакомому человеку в жилетку плакаться, а то скрытничает и юлит.

Между тем сумерки сгущались; последние розовые дорожки закатного света угасли – вода сделалась иссиня-черной, цвета закаленной булатной стали. Туристы и молодежные компании давно не попадались навстречу.

– Дядя сказал: тот жрец не выполнил завета, и атакан обернулся против него, – глухо закашлявшись, поведал хилый потомок жрецов. А я вдруг весьма некстати подумал: «Странно, что он так и не назвал мне свое имя. Надо бы его спросить». Но он как раз опять залился соловьем, затарахтел – не остановишь. – У него были неприятности, у того жреца. Поэтому он даже уехал в другую страну. Но это не помогло. Пришлось вернуться. Кончилось тем, что он бросился с моста в воду и утонул. Служение перешло к другому жрецу, напрасные смерти прекратились.

«Напрасные смерти? О чем это он?» – Я уже ничего не понимал. Попутчик мой вдруг сделался беспокойным: засуетился, забегал вперед-назад, не один раз оглянулся по сторонам. Я уж подумал – об удобствах цивилизации затосковал. В смысле, в сортир человеку надо.

Но он продолжал говорить, подробно разъясняя мне какие-то детали, с дотошностью и упорством входя в мельчайшие и абсолютно неинтересные подробности жизни дяди.

Я решил, что пора прекращать балаган и закругляться с прогулками. Тем более что мы как раз подходили – в который раз уже за этот вечер – к тому самому месту, откуда ушли. С Невы тянуло сыростью, и резко пахла тиной вода – в такие ночи не стоит долго задерживаться на набережной. Особенно если у кого ревматизм.

Я уже обдумывал, что сказать, когда буду прощаться. Но он вдруг сделал резкое движение, заступил мне дорогу, приблизив лицо, заглянул в глаза и как-то с нажимом произнес:

– Я думаю, вы поняли меня. Вы поняли, чего я боюсь? Мое неумение служить не нравится атакану. И это означает новые смерти для многих людей. Многих. Вы понимаете? Людей, ни в чем не виноватых. Ничего не подозревающих… Вы понимаете?

Голос у него сделался просительным и жалким; глаза из серо-голубых и водянистых стали темными, как водовороты в морской пучине, где царит вечная мгла.

– Вы уже старый человек, поживший на свете. Мудрый. Вы наверняка меня понимаете…

Бормоча всю эту болезненную чушь, он сверлил меня взглядом и наступал ближе, заставляя отклоняться назад. Мы уже едва не нос к носу с ним стояли, когда я почувствовал, что уперся задом в холодный гранит парапета.

– Что-то я… Задержался. А меня ждут.

Глупо, но я вдруг подумал, что тип, который днем показался мне хлюпиком, вовсе не такой слабак, по крайней мере говорить жестко он умеет.

– Вам не надо никуда идти.

Он схватил мою руку.

– Но ведь меня ждут…

Теперь уже мой голос сделался жалким и просительным. Я попытался вырваться и обнаружил, что пальцы у моего противника холодные и цепкие, как стальные крюки.

Не позволяя ни обойти, ни отодвинуть себя силой, он припер меня к парапету и упорно толкал туда, в черные, маслянисто поблескивающие воды Невы.

– Эй! Поймите же – мне пора…

Я повысил голос, но боялся закричать. А вдруг эта цеплючая сволочь догадается зажать мне рот? Тогда уж точно потеряю шанс вырваться. Я все пытался с ним разговаривать. Даже животных усмиряют ласковыми словами. Я старался сохранять спокойствие, но сердце колотилось уже где-то в горле, да так громко, что я удивлялся, как он этого не слышит. Этот барабанный бой больного сердца предвещал мерзавцу скорую победу.

– Понимаете ли, сегодня у жены какая-то встреча намечена, с подругами. И я обещал ей… И мне пора. – Я нес сущую белиберду, заговаривая мерзавца, словно дикого зверя. – Уже совсем пора.

– Я тоже так думаю, – сказал он, усмехнулся и, уже не скрываясь, протянул руку к моему горлу. Мне повезло. Как раз этот прием мы отрабатывали в армии с сержантом Голыбой. Как я его тогда ненавидел, этого сержанта!

А получается, он мне спас жизнь.

Я настороженно караулил все движения этого психа-шамана. Поэтому, едва он поднял руку, я угадал направление и, слегка присев, уклонился, поднырнул ему под локоть и, одновременно навалившись на бедро, подсек его ногу резким движением.

Такой прыти он никак не ожидал от старого интеллигентного балбеса вроде меня – упал, ударившись головой. Я слышал, как отвратительно хрустнула кость – этот звук ни с чем не перепутаешь, – но не остановился, торопясь выбраться наверх, к Литейному, поближе к людным местам. Поднявшись наверх, я оглянулся: проклятый шаман сидел, прислонившись к парапету, подняв руки к затылку, и вся его поза красноречиво свидетельствовала, что неумелому служителю атакана и в этот раз основательно не повезло. Он был жив, но догнать меня ему было уже не под силу.

Все-таки я не стал мешкать, ретировался со всей скоростью, на какую были способны мои ревматические семидесятидвухлетние ноги.

Хватит с меня приключений.

* * *

Следующим утром я первым делом включил телевизор и стал слушать новости. Мне бы вовсе не хотелось узнать, что вчера вечером в городе стало одним трупом больше, а одним потомком шамана меньше. Я беспокоился и по дурацкой привычке расчесывал свое любопытство, как ребенок – подсыхающую болячку. И вдруг…

– Авария на Неве, – сообщила дикторша новостной программы. – Сегодня, приблизительно в четыре утра по московскому времени, в Петербурге судно столкнулось с опорой Литейного моста.

Сухогруз «Каунас» был загружен металлом. В результате столкновения корабль затонул на две трети. Жертв и пострадавших нет. Серьезность причиненных мосту повреждений в настоящий момент выясняют специалисты.

Оцепенев, я уставился в телевизор: затопленный «Каунас» торчал кормой вверх как раз напротив того места, где я повстречался с буйнопомешанным потомком шамана. Радужные пятна расплывались по воде, и два мусоросборщика деловито суетились вокруг них у опоры моста – маленькие суденышки собирали топливо, которое уже расползлось по поверхности реки из баков затонувшего судна.

Мне стало как-то не по себе. Можно ли считать аварию совпадением?

Шаман говорил про затопление кессона. Когда-то давно я даже читал об этом, но подробности забыл.

Я вспоминал вчерашнюю встречу, думал, и от этих мыслей мне становилось все неуютнее. Тогда я плюнул и позвонил приятелю. До пенсии он работал редактором в «Детской литературе» – мужик умный, энциклопедически образованный. Старый кадр, таких теперь не делают.

Приятель оказался дома. Мы поболтали о том о сем – про погоду и внуков. А потом я как-то в тему ввернул – мол, не слышал ли он такого слова: «атакан»?

Он озадачился.

– Атакан? Хм. Это из какого вообще контекста?

– При чем тут контекст? Просто слово.

– Тогда из какого языка?

– Понятия не имею.

– По звучанию как будто тюркское, – заинтересовался приятель. – По крайней мере похоже. «Ака» – предок, «кан» – кажется, кровь. Если я ничего не путаю. Впрочем, это можно проверить… А тебе зачем?

– Да так, – замялся я.

– Но это надо или – так? – уточнил приятель.

– Надо, – твердо ответил я. – Но не так чтобы срочно.

– Ага. Ну, подожди, я перезвоню тебе.

Он перезвонил только через два дня.

– Знаешь, странная история, – сказал приятель. – Я так и не выяснил, из какого все-таки языка этот «атакан» взялся. Пытался идентифицировать морфемы… Оказывается, есть в вепсском языке слово «акан» – означает «бабий». Но если слово из вепсского, то что такое «ата»? Нашел «айт» – амбар, значит, «закрома» то есть. Может, фонетика редуцированная, думаю? «Бабьи закрома»?

– Ну ты развел филологию! Я всего-то хотел узнать – откуда взялся этот атакан, а ты…

– Откуда он взялся, – сердитым голосом отозвался приятель, – это совершенно отдельный вопрос, и ты мне задачу так не формулировал. Поэтому…

– Ну, ладно, ладно, – заворчал я. – Сдаюсь. Хоть что-то про атакан ты узнал?

– Только легенды о жертвенном камне «Атакан». Будто бы лежит он на дне Невы у Литейного моста.

Мне стало трудно дышать.

– И что? – через силу спросил я.

– Да, собственно, и все.

Даже не видя приятеля, я представлял, как он сейчас недоуменно пожимает плечами.

– Место, где он лежит, считается самым гиблым в городе. 16 сентября 1876 года двадцать восемь рабочих утонули в затопленном кессоне… Через год – еще сорок жертв при взрыве…

– А сегодня, 16 августа 2001 года, сухогруз «Каунас»…

– А, ты уже слышал новости. Да, странное совпадение. Сегодня, получается, тоже 16-е. Так зачем тебе все это надо было?

– Да так, я еще сам не понял, – уклончиво ответил я.

– А! Ну, когда поймешь – звони. Будет любопытно узнать.

Он бросил трубку. Возможно – обиделся. Решил, что я от него что-то скрываю. Но я не стал перезванивать ему.

Я как сел в кресло, так и подняться не мог. Уговаривал себя, что все это – глупости. Глупости! И еще раз глупости.

– А говорят – сумасшествие не заразно. А оно вон как! – сказал я сам себе вслух. И постарался выкинуть атакан из головы.

* * *

Но он то и дело напоминал о себе.

Да, конечно, местечко такое – центр, перекресток – водного и пешего пути. Испокон веков на перекрестках черти орудуют.

Но все же – не слишком ли часто?

То турист в воду свалится, то катер сгорит, то автомобиль рекламную тумбу протаранит. Однажды человек на мосту застрелился, и я встревожился, подумав: а не мой ли это шаман? Вдруг снова атакан осиротел, и, значит, жди отныне большой беды?

Но оказалось, что самоубийца занимал какую-то должность в боевом подразделении. Ни при каком раскладе я не мог представить, чтобы знакомый мне хлюпик служил в войсках.

Спустя какое-то время карусель неприятных событий вокруг проклятого места замерла. В городе пошли слухи, что кто-то ходит на Литейный мост, чтоб покропить Неву красным вином.

Наверное, это мой шаман. Хочется надеяться, что других жертв своему идолу он больше приносить не пытается.

Иногда я вспоминаю тот день, и словно наяву возникают передо мною отчаянные глаза шамана – как две черные воронки в воде. Цепко хватают и тащат вниз – к гибельному холоду, в пространство, где совсем нет солнечного света, но вечный полумрак от взвеси придонного ила, волнуемого течениями.

Кто знает, что спит там, в глубине, какое древнее зло затаилось среди органических останков рыб, растений, человеческих отходов и захороненных костей?

Я стараюсь меньше об этом думать. В конце концов, шаман прав – я уже пожил на свете. Злопамятные духи земли все меньше имеют надо мной власти. И не могут они беспокоить меня больше, чем те небесные силы, которые, как учит нас религия, ожидают впереди всякого хорошего человека.

Черный монах

Сенная пл.

1831 год. Таинственный мор выкашивает целые губернии великой империи.

Врачи именуют его «азиатской заразой», «индийской корчевой лихорадкой». Родиной болезни считались берега далекого Ганга, где издавна наносила она урон каждой крестьянской семье.

Но какими путями удалось ей пробраться в Россию?

В 1831 году еще никто не знал этого.

Роберт Кох – человек, который впоследствии предъявил миру возбудителя «индийской лихорадки», еще не получил в дар микроскоп, с помощью которого мог бы исследовать ткани умерших пациентов. До его открытия – еще больше полувека и миллионы трупов в России, Азии, Европе.

Беспрепятственно и без всякого снисхождения эта болезнь убивает людей в два дня, не щадя в особенности самых слабых – детей и стариков. И за эту беспощадную простоту гибели народ в России прозвал ее коротко и страшно: собачья смерть. Холера.

Против нее бесполезны карантины. То, что преграждало дорогу такому бескомпромиссному массовому убийце, как чума, – не помогает остановить новую напасть. Как будто сам воздух, отравленный ядовитыми миазмами, сеет ее семена.

У холеры особое, узнаваемое лицо: изможденное, со впалыми щеками и черными ямками глазниц, с пергаментно-желтыми складками кожи.

В июне 1831 года такое лицо сделалось у всего Петербурга: засушливое лето обезводило почву, пожухлая трава сморщилась, листва на деревьях поскручивалась и пожелтела, почва растрескалась, словно покрылась старческими морщинами, а небо по вечерам дышало безжалостным красным лихорадочным огнем.

Холера уносила в могилы по пять-шесть десятков горожан ежедневно. Умирали семьями, улицами, слободами. В ночной темноте из госпиталей и лечебниц под треск смоляных факелов тянулись тайные шествия, карнавалы смерти: скрытно вывозили подводы, набитые трупами. Шабаш длился до зари – торопясь успеть, сотнями хоронили тела в кладбищенских рвах, наспех забрасывая землей.

Без попов, без отпевания, без слез. Освобождали места в больницах для новых захворавших.

Тех же, кто погибал в своем дому, не хоронил никто. Трупы валялись на улицах.

* * *

В те дни на Сенной площади работал холерный госпиталь на двести коек – без учета бескоечных, сваливаемых просто на полу в коридоре и приемном покое.

Всем хозяйством управлял квартальный врач Громов. Для помощи ему городские власти прикомандировали также санитара и конюха Семеныча с коляской и лошадью и двух студентов императорской медицинской академии – Николая Колычева и Алексея Щегла. Студентам в лечебнице тяжко приходилось. И жутко. Не меньше, чем пациентам.

«Ничего же не помогает!» – думал Алеша Щегол, пробираясь душным коридором больницы, переступая через лежащих вповалку больных.

Дышать медик старался через рот. Вонь, происходившая от большой скученности страдающих людей, от влажного, грязного белья, не опорожненных вовремя уток, быстро прогрессирующего гниения в мертвых на фоне жары, – все это само по себе сводило с ума, лишая надежды. А вдобавок, по требованию медицинских правил по обеззараживанию помещения, каждые полчаса больничные коридоры еще и окуривали серой – и ее едкий аромат, казалось, торжествовал окончательную победу адских сил над жизнью стремительно угасающих в пытке болезни людей.

– Монах…

Алексей вздрогнул: посреди постоянных звериных стонов он почти отвык слышать осмысленные слова от лежачих больных. Он оглянулся. Из угла палаты на него смотрели черные глаза какого-то бородатого мужика, который, сидя на койке, пялился зло и осознанно, как грабитель, высматривающий в подворотне жертву повыгоднее.

В следующее мгновение – Алексей не успел испугаться – черноглазый упал плашмя на кровати и, разметавшись в мокрых простынях, застонал. Студент подошел ближе. Черноглазый мужик с родимым пятном во всю щеку лежал в палате второй день, редко приходил в сознание, и судьба его уже решилась: сквозь ничем не примечательное лицо простого человека проступила уже маска холерной смерти – глаза запали и нос заострился.

Щегол вытер бредившему лицо и губы мокрым полотенцем и вышел.

В коридоре он наткнулся на могучую фигуру в извозчичьем армяке. Дядьку приволокли сюда пару часов назад двое каких-то слободских, прислонили спиной к стене – у мужика отказали ноги. Так он и сидел тут с лицом изумленного ребенка, терпеливо и покорно, как животное.

– Мне капельки, доктор, дай. Вспомогающие…

Дышать извозчику было тяжело, он сипел и хрипел, но молча и кротко все ожидал от «доктора» каких-то «капель».

«К чему мучаем мы этих несчастных, когда толку от наших спиртовых растирок, опия и кровопускания ровно столько же, сколько от наговоров бабок-знахарок да от их домашних перцовок, принятых внутрь по собственному разумению? – с досадою думал Щегол. – Одно название, что медицина! Среди родни-то своей им, поди, помирать веселее».

Он подошел к извозчику, протянул было руку пощупать пульс…

Извозчик изумленно таращился на студента. По остекленевшему левому глазу беспрепятственно поползла муха. Кончился.

Раздраженно задернув мертвого простыней, Алексей шепнул про себя:

– Готов и этот. Зря везли.

– И где же это наш Громов? А?

Колычев вышел из соседней палаты, вытирая руки окровавленным полотенцем. Голос медика, сухой, потрескивающий, звучал устало.

– Поехал с Семенычем о подводах договариваться и запропал. Еще час назад должен был вернуться…

Лежавший рядом с умершим извозчиком какой-то бесформенный куль вдруг зашевелился, рогожка, которой был он укрыт, откинулась. Из-под рогожи показалась круглая одурелая распухшая рожа какого-то парня. Весело глянув на медиков, он обтер с лица пот и загорланил радостную песню.

– Э, братец, да никак ты пьян?! Вот ведь волокут, мерзавцы, без разбору, кого ни попадя, – заругался студент Колычев. – Конечно, этим радетелям только бы мзду получить…

Измученный бессонными дежурствами, медик стоял у двери открытой палаты – густой гул голосов и кислые, удушающие запахи плыли оттуда в коридор. Колычев морщился, придерживаясь рукой за притолоку.

– Так что, Николай, вывести этого? – спросил Щегол, указывая рукой на пьяного мужика, которого доброхоты ошибкой притащили в холерное отделение.

– Оставь. Теперь уж все равно – заражен, – махнул рукой Колычев.

Щегол распахнул коридорное окно. Солнце завалилось за горизонт, на улицах города расплывалась ночная синева. Раскаленный за день воздух стоял напротив окна. Потом лениво полез перетекать внутрь, неся с собою запахи пыли, высохшей травы; медленно и тяжело он перемешивался с адской удушливой вонью внутри лечебницы.

Пьяный перестал петь, поднял на студентов-медиков заплывшие мутные глаза, звучно икнул.

– У нас вся улица вымерла. По-гре-бе-на. К матери… Вся! Собаки… Приходят, тащат… Влас хотел самовар медный у Поповых взять… Ну, им-то ведь все равно? Они мертвые. Ишь! Сидят там… вокруг стола. Дитя в люльке серое. Собака в углу грызет… Влас идет, а старуха вдруг – голову подняла… Вроде как живая. И сидит еще, и дети ее…

Речь пьяного сделалась бессвязной и наконец застопорилась. Парень повесил голову на грудь и захрапел. В палате кто-то тоненько подвывал, успокаивался и снова начинал подвывать – жалобно и тоскливо.

И вдруг дикий крик донесся с другого конца коридора, из темноты под лестницей. Кого-то и там, видать, свалили да оставили санитары холерного возка. Алеша Щегол резко обернулся и, не рассчитав, налетел локтем на стену. Колычев вскрикнул.

Перед аркою входной двери в сумерках возникло видение: круглое белое пятно, качающееся на темной глыбе.

Оно медленно приближалось.

Угасающий сумеречный свет вечера пролился из окна на подступающий ужас и очертил грозную черную фигуру, тогда только медики увидали, что это вовсе не призрак, а квартальный доктор.

Вид его был страшен. Доктор, казалось, побывал в лапах зверя. Темный суконный добротный немецкий плащ разодран, как гнилая ветошка, белая голландская рубашка свисает клочьями, лицо перемазано хлориновой известью и местами расцарапано – по белому размазаны алые пятна, а левый глаз вспух и пылает багрово-пурпурным.

– Зиновий Маркович!

Перепуганные студенты кинулись навстречу.

Доктор растянул губы в улыбке. Запекшаяся ссадина на губе треснула и покрылась кровавой росой.

Вскинув толстые руки, доктор Громов крикнул:

– Не трогайте! Не прикасайтесь. Не надо.

Всхлипнув, он переступил через свежие трупы у порога, приблизился, шатаясь, к подоконнику, почти упал на него. Вблизи стало видно, как дрожат его руки.

– Варвары! Еле вырвался. С ума народ посходил. На улицах смрад… Трупы разлагаются. А эти… Если б не монах…

Взбудораженные Щегол и Колычев слушали растерзанного начальника в тревожном молчании. Сердца обоих совершали в это мгновение неприятные щекочущие пробежки от горла до пяток.

Громов пытался объяснять, поглядывая в окно:

– Карету задержали на углу. Я не видел – какая-то черная тень впереди. Лошади на дыбы… Семеныч кнутом замахнулся – а тут этот… Они убили Семеныча. С возка стащили и затоптали. Озверел народ. Я вырвался, побежал. Схватили за плащ. Убивец, говорят… Уксус у меня нашли, для протирки рук. Хотели, чтоб выпил. По счастью, склянка разбилась… Если б не монах… Перепугались его! Но известь… Сами видите… Заприте! Заприте все двери. Окна. Они могут сюда… Опять… Черный…

И доктор, вдруг потеряв сознание, ткнулся лбом в плечо Колычева; тот едва не свалился под весом безжизненного тела.

– Скорее! Помоги! – зашипел Колычев, цепляясь за подоконник. Алексей подхватил раненого Громова слева, Николай взял справа; вдвоем уместили доктора на скамью.

На обоих студентов рассказ Громова произвел ужасное впечатление. Но натуры их откликнулись на него по-разному: пока Колычев трясся, стоя столбом над бездвижным доктором, юркий Щегол уже бегал, закрывая, закладывая входные двери, ведущие с лестницы первого этажа в отделение.

– Что ж теперь будет?! – Колычев, не сознавая, что делает, кусал уголок своего рукава.

Внезапно в темноте раздался злорадный смешок. Кто-то сердито прошипел:

– Все сдохнете, душегубцы! Сдохнете, отравители.

В ужасе медики глянули под ноги – злой шепот доносился как будто с полу – и шарахнулись в сторону.

Странное существо, вполовину человека, без признаков пола и с культями вместо рук и ног, выползло из-под деревянной скамьи, на которой лежало грузное тело их начальника. Задрав кверху голову, существо оскалило гнилые зубы в сторону обоих студентов и, растягивая в злобной ухмылке рот, пообещало снова:

– Сдохнете!

Грязные засаленные лохмы существа свисали на лицо, закрывая глаза.

– А ну заткнись! Заткнись, сволочь, карга! – завизжал взбешенный Колычев и занес было руку, но Щегол подскочил, перехватил.

Существо перепугалось: захныкало, ерзая по полу, выпрашивая, как милостыню просят:

– Позовите черного монаха! Позовите. Придет монах-черноризец, спасет нас всех… Монах-заступник, святой старец…

– Ни один поп теперь сюда не полезет, – мрачно сказал Колычев и, обхватив себя за плечи, отошел в сторону.

– Придет, придет черный монах. Спасет всех нас, – бормотал урод, заливаясь слезами.

Так наступило самое страшное из всех больничных дежурств студента Алеши Щегла: он один остался противостоять смерти. Громов спал, не приходил в сознание – сказались нервное потрясение и многодневная накопившаяся усталость.

Колычев же вдруг утратил всю прежнюю уверенность, сделался как будто не в себе: не спал, выполнял любую порученную работу, но только самую простую и кое-как. Все валилось у него из рук, но он не замечал этого – нашептывал что-то про себя и красными слезящимися глазами следил за Алексеем, семеня за ним по госпиталю туда и сюда, как утенок за утицей. В конце концов Алексей, устав от него, сам велел Колычеву идти отдыхать.

Каждую минуту, каждое мгновение ожидал Алексей какого-то подвоха. Звуки, доносившиеся с улицы, настораживали его.

Он и сам не знал, чего ждет: разъяренных погромщиков и их бесчинств или чего иного, совершенно иррационального. В голове его образовалась какая-то звонкая пустота, а в животе – сосущая тяжесть, жажда терзала и донимала его, горло пересохло и першило.

Хотелось глотнуть свежей, холодной колодезной воды. Но в госпиталь воду подвозили только утром, к вечеру остатки ее в бочке степлились, пропахли ряской.

В уме молодой медик перебирал симптомы и признаки холеры: ему стало казаться, что болезнь захватила и его.

«А там… Там и смерть придет», – обреченно думал Алексей, продолжая обходить палаты, проверять больных, окуривать коридоры серой. Умирать не хотелось, но мысль о смерти как о вечном сне, как об избавлении от усталости уже не пугала и не настораживала – напротив, завлекала медика в какие-то туманные соблазнительные мечты…

Его беспокоило, что трупы за день так и не вывезли: к утру набьется в отделение народу, но прежде надо же для новых расчистить место… Тащить этого и того… А это что там, черное, тянется?..

От своих пугающих вязких мыслей Алексей очнулся, только когда кто-то схватил его в палате за рукав. От резкого движения колыхнулась и едва не залилась воском свеча на окне. Оказывается, последние полчаса или даже час он дремал, положив голову на руки, возле окна в палате.

– Парень, глянь-ка, кто там ходит?

Все тот же черноглазый мужик с родимым пятном во всю щеку теребил студента. Лоб его, покрытый испариной, блестел от жары. Глаза тревожно таращились куда-то в сторону дверного проема.

– Это смерть там… ходит?

Алексей протер глаза, потянулся, расправляя затекшие плечи.

– Успокойся, ты бредишь, – сказал он.

– Монах… Черный монах, – прошептал мужик. Алексей оглянулся. Пламя свечи метнулось, и ему показалось, что и впрямь по коридору кто-то прошел – кто-то высокий, в остроконечной шапке и черных развевающихся одеждах.

Алексей вскочил, прислушался. Свечу задуло внезапным, неизвестно откуда налетевшим сквозняком. В коридоре стукнула деревянная рама.

Алексей осторожно выглянул из палаты: напротив нее, у окна, и вправду кто-то стоял, черный силуэт ясно прорисовывался в синеве неба. Колпак или капюшон, фигура в черном плаще – в самом деле монах.

Но что он тут делает?

И только тогда Алексей вспомнил: а ведь двери-то в госпитале закрыты. Сам он, Алексей Щегол, лично их все закрыл, замкнул, задвинул засовами. Откуда же взялся этот монах?!

Сердце у студента трепыхалось уже где-то в горле.

Черная тень покачалась, будто ветром ее шатало, и скользнула в арку.

Взволнованный, ничего не соображая, студент Щегол рванулся за ускользающей тенью неизвестного. Ему вдруг загорелось непременно увидеть лицо монаха – и это желание, возникшее внезапно, пересилило в нем даже жажду.

Преодолевая слабость в ногах и головокружение, Алексей скатился вниз по лестнице – тень раскачивалась уже перед распахнутой настежь дверью. И тут особенно сделалось заметно, какое это необыкновенное существо: крайне худая фигура монаха головою касалась верхней перекладины, а дверные проемы в больнице были чрезвычайно высоки.

– Черный монах, – прошептал Алексей. – Стой-ка…

Он и сам не понимал, для чего покинул госпиталь, преследуя то ли человека, то ли призрака.

Какая-то непреодолимая сила толкала его бежать вслед за странным видением. Как и его несчастный коллега Колычев, который таскался, ища непонятного утешения либо защиты от него, так и сам Алексей гнался теперь за черным монахом…

* * *

В это время с соседней улицы к больнице стекалась толпа. Крестьяне, рыночные торговки, рыбаки, ремесленники, нищие попрошайки, всякий городской люд и сброд без дела и профессии. Страх согнал их вместе, сбил гуртом и повлек куда-то, стегая жестокими своими плетьми. В свете факелов крохотными бесовскими огоньками блестели перепуганные глаза.

– Вот тут, тута больница эта! – раздался заполошный крик. – Сюда мужика моего утром снесли и не выпустили, ироды! Говорят: лечить, лечить. А он помер!

Возбужденно переговариваясь, зароптали слободские языки:

– Известно: лечить. Лекаря эти опыты на мужиках делают…

– Иностранцы. Отравители!

– А не иностранцы, так скуденты. Им мужика не жалко!

– Из мужика кто только не тянет и грош, и жилы… Поди, и без этой напасти веревки из нас вили. А теперь еще карантины и душегубки энти придумали! Кровососы…

Толпа гудела; гнев ходил по ней волнами, ворочался, возбухал; толпа созревала. Наконец чей-то тонкий крик взрезал нарыв:

– Убивцы! Мучители окаянные!

Алексей, отбежавший к тому моменту от госпиталя на двадцать шагов, услыхал звук лопнувшего стекла и вернулся, чтобы поглядеть, что происходит. Но он не успел еще приблизиться, как толпа, рассвирепев, кинулась на штурм. Кто-то запустил камнем в стекло второго этажа; грохнуло, словно выстрел из пушки. Осколки со звоном посыпались вниз сверкающим дождем.

В толпе кого-то задело, брызнула кровь. Это еще больше разъярило наступающих: двое, а за ними еще трое бросились ломать, высаживать двери с криком:

– Душегубцы!

Двери затрещали. Из разбитого окна показалось белое лицо очнувшегося Громова.

– Эй, мужички… Что это вы? Больных беспокоите…

– Бей его! – раздалось в ответ.

Камни полетели и в остальные окна. Снизу уже ломали рамы первого этажа, вышвыривали и разбивали мебель, выводили больных. Со второго этажа неслись вопли и ругань.

– Круши!

– Душегубцы!

– Чертовы выродки!

– Отравители!

В проеме вынесенной с мясом двери показался бледный дрожащий Колычев. Какая-то баба тут же вцепилась ему в волосы и принялась рвать и таскать за них, крича:

– Где мой мужик? Мужика моего сгубили!!!

Визг, стон, лай какого-то пса, некстати подвернувшегося к делу, – громовым эхом раскатывались по пустынным улицам. Из соседних домов выглядывали перепуганные жители.

Алексей, при первых буйствах толпы укрывшийся за деревом во дворе больницы, увидал, как баба безжалостно треплет его товарища, высунулся, чтобы остановить ее, но тут…

– Расступись, народ! Боров летит! – радостно завопил кто-то сверху. Раздался короткий взвизг, и что-то оглушающе чвакнуло внизу. Люди подались вперед, чтобы глянуть, что случилось, и тут же отпрянули. Алексей приблизился взглянуть.

В круге света, очерченном факелами, лежала груда тряпья, залитая кровью. Какие-то сырые ошметки валялись вокруг, вонючая жижа растекалась из-под тряпок.

Постояв мгновение, Алексей понял, что смотрит на тело доктора Громова. Его плащ, испачканный и разодранный, укрывал то, что осталось от несчастного эскулапа, выброшенного озверелыми бунтовщиками из окна.

– Один есть! – весело крикнула сверху вымазанная сажей физиономия. Тот, кто весь день провалялся в госпитале пьяным, наконец протрезвел. И сразу присоединился к потехе.

– Сожжем-ка всю ихнюю лавочку!

Огонь трещал в смолистых факелах. Крепкие руки готовились уже метнуть эти факелы на дряхлую крышу, как вдруг…

Зарокотали барабаны. Барабанный бой ломился в уши со всех сторон на площади. Люди замерли, принялись озираться. Из темноты по кругу тут и там выступали солдаты. Семеновский полк оцепил площадь. В круге света подъехала и остановилась какая-то коляска. Человек,

сидящий внутри, высунулся наружу из окошка. Даже издалека было видно, какое растерянное у него лицо. Он не находил слов, глядя на представшую его глазам картину разорения.

– Что встали, мужички? Бей гадючью породу! Подпалим мерзавцам бороды! Жги их!

И брошенный кем-то камень свистнул по воздуху в сторону подъехавшей коляски. А смутьяны-поджигатели уже разводили под окнами госпиталя гигантский костер, таща и сбрасывая в кучу обломки мебели, грязное больничное тряпье, матрасы-сенники. Наверху били склянки, выкидывали из окон аптеку, инструменты, бинты…

Те из больных, кто мог ходить, вытаскивали лежачих.

– Прекратите немедленно, – сказал человек в коляске.

Бунтовщики только рассмеялись.

И тут случилось необъяснимое: долгий протяжный звук, похожий на стон какого-то исполинского существа, словно порыв ветра, пронесся над толпой. Каждый ощутил его необычное звучание всей грудной клеткой. Казалось, воздух в небесах запел. Пламя факелов трепыхнулось; громадная черная тень наползла на госпиталь.

– Монах! Монах в черном клобуке, – прошептал какой-то мужик рядом с Алексеем. Раскрыл рот и перекрестился.

Заполошная баба отпустила Колычева и бросилась на колени, нагнув ниже голову и размашисто кидая по плечам кресты справа налево.

Многие в толпе последовали ее примеру.

Алексей глянул в ту сторону, куда смотрели все: в небе над площадью возвышалась фигура черного монаха. Тень его была так велика, что почти целиком покрывала здание больницы. Будто бы нарочно укрывал он ее своей рясой.

Монах покачал громадной головой: все факелы затрещали и погасли. Дымная гарь повисла в воздухе. Монах поднял руку и погрозил пальцем тем, кто нападал на больницу. Вздох ужаса прокатился по толпе; слободские громилы принялись неистово креститься, распростершись ниц на холодных камнях.

Монах постоял еще мгновение, затем повернулся и ушел, поднимаясь к небу, словно по ступеням. Он делался все меньше, все дальше уходя в предрассветное небо, с каждым шагом теряя четкость очертаний. В конце концов даже и те, кто его видел, решили, что он – всего лишь облачко на горизонте.

А на самом-то деле ничего и не было. Никакого монаха.

Молча и словно в забытьи, ошеломленные люди принялись расходиться.

Человек в коляске радостно наблюдал за происходящим: удивительную послушность бунтовщиков он записал на свой счет, поскольку странная мистерия разыгралась за его спиной, вне пределов возможной для него видимости.

Сказать же ему о его ошибке никого желающих не нашлось.

* * *

На следующий день все газеты Петербурга писали о случившемся 22 июня холерном бунте на Сенной.

С особенным умилением передавался рассказ о том, как сам государь, бесстрашно явившийся в город из Царского Села, самолично остановил беспорядки одним лишь своим внушительным и грозным видом![1]

[1] Эпизод усмирения холерного бунта государем. Исторический факт; его запечатлели скульпторы Р. К. Залеман и Н. А. Рамазанов на горельефе памятника Николаю I перед Мариинским дворцом *(прим. авт.)*.

О явлении черного монаха ни одно просвещенное издание не упомянуло. Даже слухи в народе были о нем весьма скудны. Те, кто видел черноризца, совсем не желали о нем распространяться из опасения, что это, возможно, накликает на них несчастье.

Те, кто видел монаха издалека или заметил слишком поздно, уже обращенным в облако, рассуждали о странной грозовой туче, показавшейся вчера над столицей и принявшей такую необычно причудливую форму.

Алеша Щегол старался никак не возвращаться к тем образам, что посетили его в страшную ночь, не думать о них.

Он радовался только, что остался жив, что ему повезло, как никому другому: заразившись холерой, он не умер, а выздоровел. Многим его коллегам повезло куда меньше: во время страшной эпидемии 1831 года десятки из них скончались.

Хотя несравнимо большую жатву смерть, как водится, собрала среди простого люда: от холеры погибли тогда 14 тысяч петербуржцев.

Вопрос о черном монахе покажется праздным и пустым любому до той, однако, поры, пока не встанет на его собственном пути. Какие от этого могут быть последствия, никто никогда не расскажет.

Был ли черный монах или не был? И кто он, если был, – спаситель или губитель? Из могилы ли тянется его тень или, напротив, в могилу она протянута?

При определенных условиях, случается, тени создают вещи, а не наоборот.

Предупреждение подавал черноризец своим видом или, напротив, как самостоятельный дух, нес грешникам заслуженное возмездие? Кто знает.

Проклятая шарманка

Место не установлено

Многие люди задаются по случаю вопросом: существует ли судьба? Ответы могут быть самыми разными, в зависимости от мировоззрения, взглядов и жизненного опыта человека. Например, поэт Мятлев мнение свое выразил стихами:

Я к коловратностям привык!
Вся жизнь по мне – лантерн мажик[2].
Судьба – шарманщик-итальянец!
То погребение, то танец…

Как ни странно, легкомыслие в этой сфере может привести к ужасным последствиям.

* * *

Едва только в 1878 году русские с турками подписали мир в Сан-Стефано, офицер лейб-гвардии саперного батальона Карл Ландсберг наравне со многими другими отличившимися на войне добровольцами награжден был за доблесть орденами Св. Станислава и Св. Анны с мечами и отпущен в Петербург.

В столице героя окружили друзья и приятели, общество приняло благосклонно, заметили и оценили красивые женщины.

И все бы хорошо, да вот деньги…

«Странная это вещь, – думал, стоя у окна нанятой им недавно квартиры, прапорщик Ландсберг. – Ежели приглядеться, категория получается почти мистическая. И как оно так выходит? Чем больше денег человеку не хватает – тем больше их становится человеку нужно».

Стоит истощиться денежным запасам, и щедрая жизненная река, вместо того чтобы быстренько нанести новых даров на обмелевшее место, нежданно-негаданно приволочет такую потребу, что прямо не знаешь, куда и деваться! Разве что занимать, покрывая прежние долги новыми. Вот то-то и оно.

Нехватка денег – это вид трансцендентальной чесотки. Почесавшись один раз, чешешься беспрестанно, и уже невозможно обуздать собственные руки.

Тут-то самая мистика и кроется!

Стоит появиться долгам – немедленно возникнет причина, чтобы задолжать еще сильнее.

Офицер вздохнул, прижался пылающим лбом к холодному стеклу окна.

«Что же, что же делать-то?» В висках стучала кровь, горели лихорадочно щеки.

Основательно позапутав денежные дела, Карл Ландсберг, на беду, смертельно влюбился и спасительный исход горячей страсти видел теперь только в незамедлительной женитьбе.

Но как может честный человек жениться, если долги душат его, не давая вздохнуть?

Замученный беспокойными мыслями, не зная, как разрешить убийственную дилемму, офицер Ландсберг вышел из дома и побрел по городу куда глаза глядят.

Миновав здание Гауптвахты, он вышел на Сенную площадь и шел теперь вдоль торговых рядов, рассеянно оглядывая старух, продающих букетики первоцветов. Он продолжал решать

[2] «Лантерн мажик» – волшебный фонарь – приспособление с движущимися картинками (*прим. авт.*).

крайне важный для себя вопрос, вертя его и так и этак. «Катенька, душенька Катюша», – твердил он про себя имя своей возлюбленной, и вдруг будто эхо откликнулось ему. Возле распахнутой двери трактира стоял дряхлый старик с обезьянкой на плече и накручивал ручку уличного органчика.

Играла шарманка «Прелестную Катерину».

Ландсберг остановился. Он знал, конечно, что «Шарман Катерину» – незатейливую, приятную песенку – играли музыканты по всей Европе и почти все механические органы содержали ее в своем репертуаре. Оттого, говорят, и получила эта любопытная механика название «шарманки». И все же… Трогательная мелодия, зазвучавшая именно в тот момент, когда более всего отвечала она его собственному внутреннему настрою, поразила прапорщика.

На войне Карл Ландсберг сделался убежденным сторонником логического фатализма, течения весьма модного в тогдашнем обществе, особенно в среде военных.

Доктрина сия, выведенная еще Аристотелем, утверждала, что из одних только принципов логики можно понять, что все в мире предопределено и никакой человек на свете не имеет настоящей свободы воли.

Когда заходила о фатализме речь, Ландсберг разъяснял собеседникам свои взгляды на самых простых и всем понятных примерах:

– Допустим, мы с вами, господа, знаем, что завтра непременно будет стычка с турками. Из этого следует, что не быть стычки с турками завтра не может. Следовательно, это необходимо, чтобы стычка состоялась.

Точно так же верно и обратное: если ложно, что завтра будет стычка с турками, то необходимо, чтобы завтра стычки не произошло.

Из всего этого делаем вывод: стычка с турками может произойти или не произойти в зависимости от нашего о ней суждения, однако в любом случае главное ее условие – необходимость. А из этого видно, что все на свете происходит по необходимости[3]. Блестящее красноречие Ландсберга всегда вызывало радостное оживление и восторг товарищей. Во-первых, потому что ловко сказано. А во-вторых, потому что эти высказывания в любом случае давали непременный повод выпить за что-нибудь: за свободу воли, за необходимость, за победу над турками или, по желанию, за все сразу.

Сам прапорщик Ландсберг из всей фатальной философии по-настоящему усвоил только одно: уверовав, что никакие случайности случайными не бывают, он приравнял всякое свое свободное решение и рассуждение к падению кости четной или нечетной стороной. Да и вообще ко всякому случайному действию, на которое можно загадать по принципу логической двузначности – так или этак.

Если все на свете предопределено, то это самый простой способ разрешать трудные ситуации.

Вот почему песенка о Катерине остановила его посреди толпы.

Разволновавшись, как дитя в Рождественский сочельник, смотрел он во все глаза на старика шарманщика.

Ничего приятного в том зрелище не находилось. Нечесаные седые лохмы музыканта свисали из-под черной шляпы до плеч, почти закрывая ему правый глаз; на левом у старика было бельмо. Затертое пальто шарманщика неопределенного грязного цвета пестрело неаккуратно наложенными заплатами; грубые ботинки, подвязанные веревкой, прохудились. На плече у старика прыгала обезьянка в красном ошейнике. Шкурку зверька покрывали то тут, то там розоватые проплешины, скорее от плохого ухода, нежели от старости. И вид у животного был такой же покорный, удручающий и безотрадный, как и у его хозяина.

---

[3] Эти аргументы – словесный фокус, их легко опровергнуть. Надо только заметить, в каком месте логической формулы Аристотель использует неопределенность вместо константы *(прим. авт.)*.

И только шарманка в этом ансамбле выделялась красотой и новизной. Инструмент светился, сияя новеньким лаком; расписные картинки с цветами, барышнями, молодыми охотниками и оленями блестели на его стенках, будто смазанные маслом.

Шарманщик вращал ручку инструмента с таким благоговением, будто не шарманка служила ему, а он ей.

Песенка о Катерине заглушила для прапорщика все остальные звуки, проникнув, казалось, в самое его сердце, и не давала уйти.

Старик музыкант истолковал внимание офицера по-своему. Он заискивающе обратился к Ландсбергу.

– Какую музыку желаете, господин? – спросил старик, оглаживая рукой инструмент. – Не возьмете ли гадательный билетец? Мой Петька вытащит вам будущее, – указывая на обезьянку, пообещал он.

– Отлично! – согласился Ландсберг. Завороженный блеском уличного органа, он сунул в карман руку и, вытащив все, сколько захватила рука, отдал старику монеты.

Шарманщик радостно засуетился. Сморщенный кареглазый Петька, повинуясь знаку хозяина, вытащил из бархатного мешка записочку и, крутя хвостом, гримасничая и скаля зубы, протянул предсказание прапорщику.

Мимо трактира шли люди; чтобы укрыться от любопытных глаз прохожих, Ландсберг отошел в сторону и, развернув записку, принялся читать под гулкие вздохи и пиликанье шарманки.

Витиеватым почерком с завитушками на узеньком клочке бумаги было изложено следующее:

«Чрезъ страсть взаимную ты счастливъ будешь вечно»[4].

– Ага! – радостно воскликнул Ландсберг. Послание судьбы он истолковал в самую благоприятную для себя сторону: в том смысле, что надо ему теперь немедленно жениться, а вопрос с деньгами утрясется как-нибудь сам по себе. Ведь страсть-то его к Катеньке совершенно взаимна, вот уж в этом у него никаких сомнений не было!

Но вот точно ли он понял смысл записки? Может быть, расспросить старика и узнать, из какого стиха он эту строчку выписал? Нет ли там еще какого-либо знака?..

Притопывая ногою в такт «Шарман Катерине», которая как будто все громче звучала в его душе, он обернулся, чтобы поговорить с музыкантом, но увидел только его спину.

Подхватив на плечо шарманку, старик ушел в трактир, видимо, не терпелось ему славно угоститься на заработанные денежки.

Ландсберг поспешил вслед. Внутри питейного заведения царил полумрак. Огромный зал с рядом маленьких полуслепых окошек казался наполовину пустым. Но когда глаза Ландсберга привыкли к темноте, он все равно не нашел внутри шарманщика. Зато разглядел целый рой сомнительных личностей воровского и разбойничьего вида, которые зашумели и зашевелились при виде благородного офицера. Заметив, как все они поворотили навстречу ему испитые, порочные физиономии, Ландсберг вспомнил, что товарищи рассказывали о трактирах на Сенной – те славились глубокими подвалами, где обитало самое злое петербургское отребье. Воры имели обыкновение прятать здесь краденое и укрывать трупы. Не желая подвергаться неоправданному риску, прапорщик дал задний ход.

В конце концов, что ему этот старик? Все и без него ясно: шарманка подсказала прапорщику судьбу, а счастливый билетик подтвердил: женись!

---

[4] В гадательные билетики «счастья» часто вписывали что-нибудь стихотворное; тут использованы строчки стихов русского поэта и публициста Ивана Пнина (1773–1805) *(прим. авт.)*.

«Буду жениться!» – сказал сам себе Ландсберг.

Купил у ближайшей старухи душистый букетик майского ландыша и с ним отправился к своей избраннице – говорить с ее батюшкой и делать предложение.

По дороге насвистывал песенку про «Шарман Катерину».

Все сомнения, мучившие досель, будто стерли изнутри большой губкой. Теперь он думал только о будущем счастье с Катенькой.

Тем же вечером прапорщик объяснился с девицей, получил от нее благоприятный ответ и застенчивый поцелуй в усы. Разговор с суровым Катенькиным отцом тоже удался.

Мало того! Отец невесты согласился дать приличное приданое, и это позволяло весьма кстати распутать сети финансовой ловушки, в которую военный угодил по своей беспечности.

«Ай да шарманка! – радовался про себя Ландсберг. – Наворожила дельно».

Слухи о женитьбе прапорщика разлетелись по городу, разошлись по знакомым и в полку. Все поздравляли счастливчика.

Получил известие и его кредитор – старик Власов, ростовщик, многим известный в тогдашнем Петербурге. Вот уже более трех месяцев Ландсберг избегал видеться с ним; каждая встреча их заканчивалась одинаково – офицеру приходилось, растоптав гордость, канючить об очередной отсрочке платежа, задабривать и умасливать оседлавшую его пиявку.

И вдруг они столкнулись в театре лицом к лицу: Ландсберг шел, окруженный приятелями, а кредитор был с какой-то пожилой дамой. Увидав ростовщика, прапорщик побледнел.

Он опасался публичного разоблачения. Толстосум вперил в должника острый глазок – и будто сердце его на крючок наживил.

– Приветствую, Карл Антонович! – сказал финансист с обычным своим хладнокровием. – Что не заходите ко мне? Давненько не были.

Ландсберг облился холодным потом и что-то невнятно мекнул, пожав плечами. Власов улыбнулся:

– Слыхал, женитесь скоро?

– Да, – ответил прапорщик, сжимая кулаки.

– Что ж… Будет и у меня ко дню свадьбы сюрпризик вам. Вот увидите, – проскрипел Власов, подмигнул Ландсбергу – весьма зловеще – и вернулся к своей спутнице.

Проклятые долги! Радостное возбуждение, царившее в душе прапорщика, сразу куда-то ухнуло, провалилось. Милые звуки «Прелестной Катерины», звучавшие все последние дни в его душе, рассыпались терзающим уши диссонансом.

«А ведь закон на стороне кровососа, – подумал несчастный Ландсберг. – Стоит ему предъявить все мои векселя и расписки – и вместо свадьбы посадят в каменный мешок. Товарищи по полку сочтут бесчестным. А невеста… Какая невеста?! Да ведь тогда и свадьбы не будет. Отец Катеньки не отдаст свою единственную дочку за промотавшегося негодяя! Все».

Расстроенный, подавленный и злой Ландсберг бросил приятелей в театре, уйдя на середине представления. Что делать? Если б возможно было покончить с долгами до свадьбы. Не подвергать риску будущее счастье – свое и невесты. Избежать позора.

Но для этого нужны деньги, деньги, деньги! А где их взять?!

Приятели все либо сами в долгах, либо уже он им должен. И ведь сумма требуется не маленькая – проценты да штрафы за три месяца неуплаты солидные набежали.

Все и дело в этих ужасных процентах. Ведь в долг берешь всего ничего – пустяк, в сущности.

Но стоит честному человеку замешкаться – на все же бывают обстоятельства! – и ничтожная сумма пускается в рост, словно дрожжи в теплой квашне. И какие еще цифры нарастают! Целые состояния.

«А правильно ли, что мы, честные люди, всех этих пиявок-финансистов терпим? – вскочил вдруг в голову Карла Ландсберга неожиданный вопрос. – К чести ли это нам?»

В смятении бродил прапорщик по городу. Мысли его шарахались из стороны в сторону, то вознося молодого человека в мечтах до сияющих вершин блаженства, то скидывая в зловонную пропасть. Страшные и чудесные образы, дерзкие фантазии будоражили его разум.

И тут, будто в ответ на исступленные терзания, явился перед ним тот, кто, по его разумению, единственный мог бы удачно разрешить любые сомнения.

На одной из улиц увидел он шарманщика.

Того самого.

Старик с нечесаными седыми лохмами только что подошел, огляделся, оценивая количество публики, и решил, что место подходит ему. Обезьянка прыгала на плече старика, скаля зубы прохожим. Музыкант снял с плеча широкий ремень и бережно расправил треногу своей шарманки, чтобы установить инструмент попрочнее.

Словно большая лаковая китайская шкатулка, шарманка блестела, рассеивая крохотные блики вокруг себя – загадочная, полная какой-то собственной волшебной жизни в очаровании тайны.

«Как шарманка подскажет – так и сделаю», – подумал Ландсберг. И замер, выжидая, как решит его судьбу Фатум. Рок. Случай. Все равно ведь нет у человека истинной свободы воли.

Старик повернул ручку; шарманка сделала вдох, и зазвучал ее полный и глубокий трубный глас…

Она исполняла песню про Мальбрука, и музыкант подпевал ей тоненьким дребезжащим голоском.

Песенку эту Ландсберг знал. Беззвучно шевеля губами, вторил и он вслед музыке и шарманщику давно известные слова, перебирая их смысл, стараясь уловить послание судьбы для него, Карла Ландсберга.

Миронтон, миронтон, миронтене,
Храбрец Мальбрук убитый,
Лежит в земле сырой.

Его мы схоронили
Миронтон, миронтон, миронтене,
Под пенье соловья.

Шарманщик взглянул черным левым глазом на Ландсберга. Радостная улыбка озарила лицо прапорщика.

* * *

– Что, Дарьюшка, дома ли твой господин?

Дарьюшка, слоноподобная баба, служившая у одинокого старика Власова в качестве кухарки, ключницы и вообще, обрадовалась Ландсбергу и отворила ему тяжелую входную дверь.

Была пятница, около пяти вечера; в этот час ростовщик обычно запирал уже свою контору и поднимался наверх, в комнаты на втором этаже, чтобы закончить итоговые расчеты за день. А служанка отправлялась в соседний трактир за полштофом красненького, которым хозяин ее привычно отмечал конец недели.

Дарьюшка стояла теперь на пороге, уже закутанная в свою выходную цветастую шаль и с кошелкой наготове.

– Давненько вы у нас не были.

Прапорщика знала кухарка хорошо и только с самой приятной стороны – как любезного и весьма приличного молодого человека.

– Заходите. А хозяин-то вспоминал вас на днях!

– Да, – рассеянно сказал прапорщик, поглядывая на лестницу, ведущую во второй этаж. – Я на минуточку.

Баба заулыбалась:

– Никак, с долгом покончить хотите? Слыхали про вашу свадьбу. Поздравляю. Дай бог вам, как говорится… Вы подниметесь сами или сходить доложить?

– Спасибо, Дарьюшка. Да ведь ты по делу собралась? Так иди, ничего. Уж я сам.

Когда дверь за служанкой закрылась, Ландсберг лихорадочно огляделся по сторонам. Несмотря на внешнее спокойствие, внутри у него словно кто-то тугую пружину закручивал. Почти не сознавая себя, будто в жару, действовал Ландсберг как-то механически.

То и дело бряцали в уши ему звуки шарманки: «Его мы схоронили под пенье соловья… Миронтон, миронтон, миронтене», – а остальное заглушалось какими-то странными шорохами и шипением.

Вместо того чтобы подняться сразу наверх, к ростовщику, забежал прапорщик вначале на кухню. Здесь на глаза ему попалась бритва, лежавшая на полочке возле умывальника. Схватив, Ландсберг раскрыл ее, аккуратно попробовал остроту и силу лезвия и, сжав в руке, на цыпочках вернулся к лестнице и стал тихо подниматься по ней.

Дряхлое старинное дерево ступенек заскрипело под солидным весом: Ландсберг был мужчина внушительный, кровь с молоком и косая сажень в плечах. Но хозяин дома так увлекся своими расчетами, что этот шум не обеспокоил его.

Затаив дыхание, Ландсберг подкрался ко входу в покои ростовщика. Отодвинув бархатные портьеры цвета вина, заглянул в кабинет.

Старик горбился за конторкой, поглощенный какими-то записями.

«Миронтон, миронтон, миронтене…»

Цокнул каблук прапорщика, задев за выступ в деревянном полу: ростовщик повернул голову. Увидав его профиль и выкаченный от изумления глаз, опытный вояка Ландсберг осознал, что отступать поздно: Рубикон перейден.

Не раздумывая, он прыгнул вперед и, вытянув руку, ударил лезвием – слева направо с оттяжкой. Ростовщик дернулся, развернулся, захрипев, ухитрился встать. Кровь хлестнула из разрезанного горла. Вздев руки, старик попытался зажать рану, но пальцы соскальзывали, не слушались его. Выкатив глаза, умирающий подался вперед, навалился на портьеры, цепляясь, накрутил их на себя.

В тиши раздалось злобное щелканье отскочивших одна за другой петель. Долгий стук падения. И звучный хруст переломанных позвонков завершил композицию: все стихло.

Мертвец, съехавши под тяжестью собственного веса вниз по лестнице, лег у первой ступеньки с неестественно вывернутой шеей.

Оцепенев, Ландсберг глядел, что натворили его руки: на залитом кровью полу громоздилась нелепая фигура ростовщика, укутанного в багряный бархат – словно он спасался от внезапной стужи или играл с кем-то в прятки.

– Иван Перфильевич! А вы же мне денежки… забыли дать.

Тяжело дыша, Ландсберг оторвал взгляд от трупа: у открытой входной двери застыла с глупым лицом Дарьюшка в своей цветастой выходной шали.

«Миронтон, миронтон, миронтене, – застучало снова в голове прапорщика. – Миронтон, миронтон, миронтене…»

* * *

Покончив со служанкой, убийца бросился наверх, в кабинет ростовщика, к массивному дубовому бюро, которое осталось стоять распахнутым. Тут хранились все заемные векселя, переписка и расчетные журналы. Обшарив ящик за ящиком, отделение за отделением, Ландсберг пересмотрел каждый клочок бумаги – векселей, подписанных его именем, нигде не было.

Шум в голове мешал как следует сосредоточиться. Вышвырнув из бюро все найденное, озадаченный, он огляделся по сторонам. На деревянной конторке у окна валялись еще какие-то бумаги и в том числе заготовленные для рассылки письма.

Ландсберг пересмотрел конверты. На одном из них он обнаружил свой адрес. Немедленно вскрыв послание, прапорщик нашел внутри и векселя, и все свои долговые расписки, которые выдавал приятелям, делая займы, и – вот неожиданность – письмо Власова своему убийце.

Дрожа, он заглянул в это письмо.

«Итак, Карл Антонович, – писал Власов жестким круглым почерком, – вот и обещанный мною сюрприз к вашей свадьбе.

Возвращаю вам все ваши векселя и расписки. Отныне все сделанные вами долги прощены и вычеркнуты.

Такое значительное событие в жизни молодого человека, как женитьба, не должно омрачаться тягостными мыслями. А я знаю, Карл Антонович, как мучительно было вам переносить стесненное в плане финансов положение.

Так пусть не удивит вас просьба: примите мой дар к свадьбе без условий и возражений.

Буду откровенен с вами. Я прожил жизнь бестолково. Нажив состояние, ничьей души не умел согреть заботой, потомства не завел, да и на службе Отечеству ничем не отличился.

Случались и в моей жизни трудные минуты, и часто думал я, что, буде попался б на моем пути в ранние годы человек, способный понять мои затруднения и бескорыстно помочь мне преодолеть их, – возможно, что и жизнь сложилась бы иначе, и не сделался бы я таким мизантропом, каким знают меня люди вот уже долгие годы.

Хочу, чтобы вы знали, уважаемый Карл Антонович, что и в моем возрасте с людьми случаются перемены.

Для благополучия собственной души я намерен предпринять теперь следующее, если вы дозволите мне участвовать в судьбе вашей, как если б вы были для меня сыном. Я выбрал вас именно как наиболее достойного и многообещающего, блестящего молодого человека из всех, известных мне. Узнайте же теперь, что на ваше имя составлено мною завеща…»

Дочитать письмо Ландсберг не смог – в глазах у него замельтешили черные мухи, чернильные строчки поплыли вправо и влево, и все полотно реальности расползлось, разлезлось на части, как гнилая ветошь.

«Миронтон, миронтон, миронтене…»

* * *

Заплаканный до бессилия Ландсберг был схвачен через час на квартире убитого ростовщика бдительным дворником, связан и передан под арест.

Товарищи по полку, узнав о положении прапорщика, прислали в камеру к нему ушлого адвоката.

Этот многоопытный пройдоха сумел протащить в тюремное здание пистолет. И, показав его заключенному, разъяснил свое предложение:

– Вас, Карл Антонович, обвиняют в преднамеренном злодеянии, в двойном убийстве. И, увы, в деле нет ни одного смягчающего обстоятельства, которое позволило бы избежать сурового наказания.

Сощурив блескучие глаза, юрист внимательно наблюдал за реакцией подопечного. Она была весьма невыразительна. Лицо прапорщика оставалось холодным и бесстрастным.

Адвокат убежденно произнес:

– У вас есть два возможных пути спасения: вы можете застрелиться – спасти от позора себя и честь своего полка.

Ландсберг повернул голову и посмотрел на адвоката.

– Это то, что предлагают вам ваши друзья и товарищи. Или вы можете застрелиться как бы… понарошку. Не до конца. Вы военный, человек опытный, да и я вам подскажу, как стрелять, чтобы не убиться, а только пораниться. Это смоет позор с вашего мундира и разжалобит присяжных. Можно будет списать ваши проступки на временное помрачение ума, угнетающую обстановку, душевную травму – ну, в общем, детали тут несущественны.

Это то, что предлагаю вам я.

Риска никакого нет, можете не сомневаться – все будет обставлено в лучшем виде! Придется только некоторое время побыть в больнице и пройти врачебную экспертизу. Доктора признают состояние аффекта, и я легко выведу вас из-под карающей руки закона. А там и с состоянием убитого злодея-ростовщика разберемся. Есть и тут крючочки, чтобы повернуть дело в нашу с вами пользу…

Адвокат подмигнул.

– Ну, так что вы выбираете? Одно из двух. Итак?..

Прапорщик вздохнул. Неловко обошел адвоката, стоявшего по-хозяйски посреди камеры, приподнялся на цыпочках, подтянулся на руках к зарешеченному окну и выглянул наружу.

Из окошка виден был кусочек улицы напротив тюрьмы, несколько домов и дорога. На дороге стоял шарманщик. Тот самый.

Красивый лакированный инструмент радостно сиял в лучах весеннего солнца.

– Ну, господин Ландсберг? – нетерпеливо переступая с ноги на ногу, нудел адвокат. – Ведь все просто. Достаточно взвесить логически…

Старик шарманщик на улице поднял руку и занес ее над рукоятью шарманки…

– Нет, хватит, – с трудом разомкнув высохшие губы, сказал Ландсберг. И повернувшись к адвокату, пояснил: – Понимаете, некоторые вещи логике не подчиняются.

– Да что вы! – рассмеялся адвокат. – Какие же?

– Например, совесть.

После такого ответа говорить им было уже не о чем. Адвокат удалился.

А разжалованный прапорщик Ландсберг остался.

На улицу он больше не смотрел.

Он стоял у решетки окна и самым внимательным образом изучал тот кусочек неба, который удавалось видеть из камеры, не напрягаясь, не поднимаясь на цыпочки и не вытягивая вверх шею.

В синем лоскутке, наполненном светом, носились стрижи; роскошный майский день изливал доброе свое тепло за границами тюрьмы на всякого человека без исключения – богатого и бедного, старого и молодого, честного и нет. И даже несчастному арестанту Ландсбергу доставался крохотный, но радостный его кусочек.

И в этом не было никакой логики, но было много такого, что примиряло бывшего прапорщика с его судьбой и с его выбором, который он наконец сделал сам[5].

[5] Странный случай Карла Ландсберга – исторический факт. Осужденный за двойное убийство на 15 лет каторги и вечное поселение в Сибири, человек этот впоследствии сумел не только заслужить уважение заключенных и начальства, но и честным добросовестным трудом вписать свое имя в историю Сахалина, долгие годы работая на его благоустройство. Женился он на местной жительнице. Умер в преклонном возрасте, окруженный любящими друзьями и детьми *(прим. авт.)*.

Путь кругов на воде, или Живой клинок

Александровский парк, 7, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

В 1994 году Валерию Быкову – это лучший друг и первый зам нашего шефа – некий антикварный спекулянт предложил приобрести старинный японский меч. По его словам – раритет музейного уровня.

Быков обрадовался. Дело в том, что год назад наш шеф, Юрий Константинович Кротов, женился на японке и с тех пор во всем проявлял чрезвычайный интерес к родине своей супруги. По делам он часто посещал Японию и с каждым разом все больше проникался самурайским духом.

Подарить шефу такое оружие – значит, понастоящему осчастливить его. Как раз вскоре намечалась годовщина свадьбы Кротова. Быков посовещался с коллегами, и все мы, сотрудники фирмы, согласились, что идея хорошая.

Быков созвонился со спекулянтом, тот быстро приехал, чтобы показать товар лицом. Смотрины проходили в офисе.

Не страдая по жизни от большой доверчивости, Быков предварительно отыскал человека, который мог бы выступить экспертом, потому что еще с советских времен занимался восстановлением и шлифовкой старинного холодного оружия. В своем роде он был специалистом уникальным.

Нам его представили без всякой помпезности: просто Саша.

Что-то азиатское было в лице этого Саши: скошенные широкие скулы, круглое лицо, тяжелые монголоидные веки, нависающие над блестящими черными глазами. Разве что нос беспечно выдавал в нем славянина – почти уплощенной азиатской формы переносица неожиданно перетекала во вполне рязанскую курносую бульбочку над узким, как лезвие, ртом. Одетый скромно, в шерстяной свитер грубой домашней вязки и затертые, залатанные джинсы, Саша явился на встречу загодя, но в ожидании барыги разговаривать ни с кем не стал. Он вообще предпочитал больше помалкивать, чем говорить.

– Вот, – сказал барыга, разворачивая серую льняную тряпицу. Внутри лежала полоска железа с заостренным концом. На первый взгляд ничем не примечательная.

– Что это? – поразился Бык. Он не ожидал, что ценное оружие будет выглядеть столь невзрачно. Мы все столпились у стола, разглядывая железяку.

– Вакидзаси. Меч самурайской чести. Каждый знатный воин Японии носил такой при себе – голову врагу отрезать, раненого соратника добить или, при неудачном раскладе, самому… обряд самоубийства совершить. Стопудово японская вещь, – сказал барыга. – Музейный вариант. Берите, не пожалеете!

– И откуда это у тебя?

– Долгая басня…

– А мы не торопимся, – пожал плечами Бык.

Саша вразвалочку подошел взглянуть. Пока барыга разливался соловьем, рассказывая, откуда и как попал к нему клинок, Саша все рассматривал потемнелую железку, все крутил ее в руках. Барыга от такой внимательности заметно нервничал, но на его красноречие это не влияло.

Скорее, наоборот.

По словам спекулянта, клинок долгое время валялся на кухне у какой-то старухи. Ее мать до революции работала в бутафорском цеху Императорского Михайловского театра. Оттуда и принесла домой клинок за какой-то надобностью.

– Повезло еще, что эта бабка ничего на помойку не выбрасывает. Хозяйственная… А клинок серьезный.

– В бутафории – серьезный? – переспросил Бык.

– Ну так он в бутафорию-то из музея попал! Из артиллерийского музея…

Чувствуя, что словам его не доверяют, спекулянт раскраснелся и засуетился. А Быков, напротив, почуяв слабину, начал давить, чтобы прояснить все темные моменты заранее.

– Ага, ага. Признайся, что заливаешь! Расскажи еще, как бабкин папаша музей ограбил, – насмешливо протянул он.

И тогда Саша впервые заговорил, вполголоса и как бы нехотя:

– Он прав. Это вполне возможно. Еще при Петре военные собирали образцы оружия. Так сказать, по велению души. Начали с одной старинной пушечки, а закончили крупнейшей в Европе коллекцией. Бывший «Достопамятный зал» разросся в собрание на три этажа, больше десяти тысяч различных предметов – русское, западноевропейское и восточное оружие; ружья, пистолеты, клинки, ножи, мечи, щиты, доспехи. И свое, и трофейное. Плюс подарки послов азиатских держав, в том числе, конечно, Японии. Во времена Симодского трактата…

Но… не в этом дело. Как известно, в 1864 году в империи затеяли большие перемены. Реформы, то-се… А как у нас реформы проводят? Сначала переименовывают. Потом чиновников перетасуют в колоде. Потом затеют переезды из одного здания в другое. А переезд равен двум пожарам.

Всю артиллерийскую коллекцию у военных забрали, передали другому ведомству, и там, как водится, что даром досталось… Короче говоря, распотрошили музейные фонды безжалостно. Счастье еще – нашлись люди, сумели остановить беспредел. Сохранили и еще приумножили.

А то ведь тогда не то что бутафорским цехам в театрах – даже царским конюшням перепало… В общем, тут правда – все могло быть, – заключил Саша, глядя исподлобья на Быкова.

– Конечно!.. Вот и я о чем? – обрадовался спекулянт. – Значит, это… про бабку. Бабка мне говорила, что были у нее еще ножны – с узором из хризантем и каких-то листочков врастопырку, типа каштана… Ножны потерялись, это жаль. Клинок, конечно, чистить надо и заново шлифовать. Но я ведь и продаю по божеской цене. Будь этот вакидзаси в лучшем состоянии, да с официальной регистрацией в японских списках – за него и миллион было бы скромно…

– Да, – сказал Саша. И раздумчиво добавил, будто про себя: – Листочки вроде каштана – это павлония. С хризантемой получается герб сегуна Токугавы. А мастер мне, пожалуй что, знаком. Один из 32 тысяч великих оружейников, имена которых почитает Страна восходящего солнца. Не берите, – глядя в глаза Быкову, нелогично закончил Саша.

Барыга, от первых слов нашего эксперта поначалу просиявший, увял.

– Ну и мне-то что, – забормотал он, скукожившись, но стараясь держать марку. – Не вам, так другим продам. Еще выгоднее будет…

– Я не понял, – сказал Быков. – А в чем проблема-то? Почему не брать?

Саша вздохнул.

– Я думаю, это меч Мурамасы. Тот, который, по легенде, принадлежал самому Тоётоми Хидэёси, великому полководцу и воину.

Пока Быков и мы все пытались понять логику его странного высказывания – а оно звучало для нас, правду сказать, ничуть не яснее филькиной грамоты, – Саша вглядывался в клинок.

– Или возьмите, – сказал он, сглатывая слюну. – Мне интересно будет с ним поработать, – объяснил он нам, хотя мы ни о чем его не спрашивали.

Саша смотрел на клинок так, будто наблюдал внутри какую-то жизнь.

«Чудак нам в эксперты попался», – подумал я тогда.

Но интересно знать, что же такое он в этой железяке разглядел.

* * *

За несколько дней перед битвой в долине Сэкигахара прошли сильные дожди, и вода досыта напитала землю. Глядя, как оскальзываются на раскисшей дороге сильные ноги коней, последний принц Минамото – Токугава Иэясу – думал о том, что кровь, которая, несомненно, прольется вскорости у подножия горы Нангу, не уйдет в землю – она запечется на поверхности, подобно ранам воина.

Думал он также о том, что вот два года миновало со дня смерти его главного соперника – Тоётоми Хидэёси, а противостояние все еще не окончено. Разве так бывает?

Теперь понятно, что да.

Но когда они впервые встретились в доме князя Имагавы – сын крестьянина, кому в будущем суждено было сделаться правителем Японии под именем Хидэёси, и аристократ голубых кровей погибшего рода Мацудайро, светлейший принц Минамото, с малолетства лишенный всех привилегий и пребывающий в замке врага на унизительном положении заложника… кто мог предугадать, что такое вообще случится?

Принц еще носил свое детское имя – Такэтиё, а Хидэёси уже был воином-самураем, хотя и самого низкого ранга.

Но это-то и дало им возможность сблизиться. Несмотря на разницу во всем – в положении, возрасте, воспитании, – Хидэёси и Иэясу связало взаимное доверие друг к другу.

Такэтиё с восторгом воспринял то, с каким почтением Хидэёси, один из немногих в доме Имагава, отнесся к унаследованному мальчишкой титулу. Он никогда не насмешничал над Такэтиё, как другие.

И Хидэёси симпатизировал принцу – потому что он один из всей знати, наполнявшей замок, не считал Хидэёси выскочкой, косолапым землепашцем, а видел в нем настоящего воина-самурая.

И все-таки они были разными. Несходство характеров обнаружилось очень скоро. Причем каждый из них обладал чем-то таким, чему другой завидовал.

Как это часто случается, дружба, порожденная завистью, переродилась из взаимного уважения в соперничество.

Покинув дом Имагава в один и тот же год, сделали они это весьма по-разному.

Иэяса, повзрослев, вырвался из клетки дома Имагава и, выдержав бой, нашел защиту и поддержку в доме противника своего врага – Оды Нобунаги. Хидэёси же, выучившись воинским премудростям у своих наставников, бросил сюзерена и перешел на сторону врага, того же Оды Нобунаги, расчетливо рассудив, что не было на тот момент во всей Японии господина сильнее и, значит, именно он поможет Хидэёси взойти высоко по карьерной лестнице в качестве военного.

Итак, снова вместе бывшие друзья служили жесткому и бескомпромиссному Нобунаге. Но служили по-разному.

Иэяса выполнял свой долг, а Хидэёси с рвением хватался за всякое поручение господина и неизменно преуспевал, добиваясь победы любыми путями, не гнушаясь ничем. Его мозг, острый как бритва, свободный от дворянских предрассудков, порою изыскивал такие методы, которые никогда не пришли бы в голову благородному человеку. Например, чтобы захватить замок Такамацу, что лежал в долине двух рек, Хидэёси поступил так: он приказал возвести дамбы вокруг замка, отчего вода поднялась и затопила всю долину, уничтожив попутно несколько деревень и ни в чем не повинных жителей. Зато осажденным в замке не осталось выбора – пришлось сдаться перед напором стихии. И Хидэёси.

В другой раз он послал своих воинов срубить в одну ночь все деревья на болоте. Много воинов погибло жалкой смертью, захлебнувшись в гнилой трясине. Но оставшиеся выстроили из бревен укрепления, с помощью которых удалось захватить цитадель в Суномате.

Но по-настоящему Япония оценила Хидэёси, когда в сражении против рода Асакура его сюзерен, Ода Нобунага, вынужден был отступить и бросил своего вассала на верную смерть…

Хидэёси нисколько это не смутило: он и сам поступил бы так же при подобных обстоятельствах. Он не искал моральных оправданий – он искал возможности победить. Благодаря своему обычному хладнокровию и выдержке он отразил наскоки врагов, прикрыл отступление предавшего его господина и вышел из схватки целым и невредимым.

После этого даже самые придирчивые критики оценили хитроумие и выдержку Хидэёси, его ум и необычайное упорство.

И только один Токугава Иэясу знал, что на самом деле таится в душе друга его юности – Хидэёси…

Как-то раз Мацусита Наганори, один из вассалов Имагавы, обучавший подростков искусству фехтования, показал Токугаве и Хидэёси старинные мечи из сокровищницы замка и пересказал им предание о двух великих мастерах-оружейниках.

Тот день припомнился принцу Токугаве как наяву.

Истома тающих облаков над горой Като. Жар нагретой травы и тихая песня сверчков в тени раскидистых кленов. Золотые и синие стрекозы над водой ручья в саду. И наставник Мацусита с темным загорелым лицом рассказывает, сидя на соломенной циновке возле сарая на заднем дворе.

«Случилось это в военные годы Онин. Дайме провинции Суруга намеревался выдать замуж дочь, прекрасную Оки. Те времена были опаснее нынешних.

Видя, как вся Япония приходит в движение из-за смуты, начатой и не прекращающейся в столице, дайме рассудил, что было бы правильно укрепить армию своих вассалов. Не ровен час вскорости и ему предстоит, подобно многим другим, защищать владения от мятежников.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.